

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ




ЕЛИЗАВЕТА ВОДОВОЗОВА



ДНЕВНИКИ
СМОЛЯНКИ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ИНСТИТУТСКИХ ПРАВАХ



ISBN 978-5-906995-39-1

Аннотация

«...Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинения писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово... В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу...»

Е. Водовозова

Елизавета Водовозова воспитывалась в небогатой дворянской семье. Она подробно описывает трагические и радостные события своей жизни, семейный уклад, учебу в Смольном институте, достоверно воссоздавая для читателей мир девочки, жившей в дореволюционной России. Честный и непредвзятый рассказ писательницы о нравах, царивших в Смольном, позволит вам по-другому взглянуть на эпоху балов и элегантных платьев.

Елизавета Водовозова
Дневники смолянки
Воспоминания об институтских нравах

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

* * *

Посвящаю мои воспоминания мужу – товарищу и другу

Глава I
Дореформенный институт

Смольный монастырь. – Прием «новеньких». – Начальница Леонтьева. – Ратманова. – Бегство Голембиовской

Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немислимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения: «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами: «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.

В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных

заведений. Мне кажется, не безынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.

В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременно условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких предрозостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России новую породу людей.

Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, – это понятно, но посмотрим, что представлял институт почти через сто лет после своего основания.



Смольный институт благородных девиц Санкт-Петербурга первое в России женское учебное заведение (1764), положившее начало женскому образованию в стране

В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью к Александровской половине Смольного (Смольный институт (основан в 1764 году) до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину – дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного

советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги^[1]. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее. – *Примеч. Е. Н. Водовозовой*) с тем, чтобы вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.

Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер, не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты...»

Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она не переставая ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.

Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новой подружкой, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.

Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.

Не получив поощрения со стороны моей будущей подружки Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.

Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка^[2] и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обоих из французского языка, а учитель – из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обоих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.

Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:

– Где же девочки, тетя?

– Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам – mademoiselle...

Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.

Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева^[3] была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним^[4].

Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею^[5]. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «таман», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни

умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святой боже», «божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвечали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!» А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!»



Елизавета Николаевна Водовозова (1844–1923) – русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога Василия Ивановича Водовозова

В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких – к клиросу; в другой же раз вытягивала на середину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашу начальницу, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!» (Статс-дама Мария Павловна Леонтьева / сост. З. Е. Мордвинова. С. 85, 93).

По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего со здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.

Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина^[6].

– Мама! Мама! – вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.

Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.

– Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я, прежде всего, попрошу вас покончить с этою сценой... Можете садиться! – И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.

– Видите ли, – снова обратилась начальница к Голембиовской, – каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!

– Испорченных? – переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. –

Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!

В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:

– Должны называть начальницу – ваше превосходительство. Вы не имеете права так *вольноразговаривать* с ее превосходительством! Извольте это запомнить!

– Извините, ваше превосходительство, – заговорила переконфуженная Голембиовская. – Я вас назвала не по титулу... Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею... Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! – И слезы полились из глаз бедной женщины.

– Мне страшно, мама! – вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.

– Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.

Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастье для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» – и, кивнув головой в сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.

Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы – в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-lle Тюфяева резко заметила:

– Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!

– Ах, милая mademoiselle Тюфяева, – с мольбой обратилась к ней Голембиовская, – скажите ей хоть одно ласковое словечко... хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает...

– Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» – вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! – И она направилась к двери.

– Покорись, дитячко! Перестань плакать, сердце мое! – покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. – Что же делать, дитячко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!

– А! – прошипела Тюфяева. – Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!



Матан и институтки. Иллюстрация к книге Елизаветы Водовозовой. Художник – Е. Самокиш-Судковская.

«Мы никогда ничего, кроме учебников, не читали. Даже в старших классах институтки увлекались небывшицами, верили в чудеса. Классные дамы никогда не боролись с этим, а наказывали только за нарушение тишины и порядка. Сами крайне невежественные, они заботились только о красивом произношении французских слов, о хороших манерах, о посещении церкви»

(Елизавета Водовозова)

Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:

– Сжальтесь... Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!

М-Ше Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моей матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.

– Молчать! Становитесь по парам! – кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой – маленьких впереди, девочек более высокого роста – позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, – классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу, – и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.

Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.

В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.

К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, – институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! вы не умеете благопристойно держать себя!» Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.

Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а склонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.

Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколотая какая-то бумажка, у другой – чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я

больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколоты бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) – нам, кофейным, неизвестно.

После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнюю одежду и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.

Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избавиться себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.

Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленно от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живую.

– Что же ты так грустна, милая девочка? – ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услышала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.

– Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.

На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:

– Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, – они и придираются меньше будут к тебе.

Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:

– Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.

– Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, – длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.

Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета – символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавички, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с

лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавички, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.

Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставяло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавички не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила, тяжело ступая, и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменной, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!». К тому же, этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов, а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами.



Воспитанница Смольного института в камлотовом платье. 1889 г.

Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.

Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта, которая была уже вдовой, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.

Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидела Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.

– Дурная, дурная ты у меня девочка, – нежно журила она меня. – Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром... Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю – узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь... Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку – пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисой!^[7] Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.

Свидание с любимой сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и почувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме^[8]. Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.

– Покажи-ка, как тебя нарядили? – спросила меня m-lle Верховская.

– Башмаки с ног падают... – пожаловалась я.

– А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки, – мило пошутила m-lle Верховская.

Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.

– Ах, тетечка, – вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. – Какая вы добрая! Какая вы красавица! – И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.

– Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, – отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. – К тому же ты должна всех классных дам

называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.

Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.

Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.

– А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? – накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету, в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.

– Ну, это неинтересно! – отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навывкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.

– Почему же не интересно? – в обиду за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. – Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!

– А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! – бросила ей Ратманова.

– Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, – кричали со всех сторон.

Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.

– Я не нуждаюсь в такой дряни! – запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. – Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, – и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.

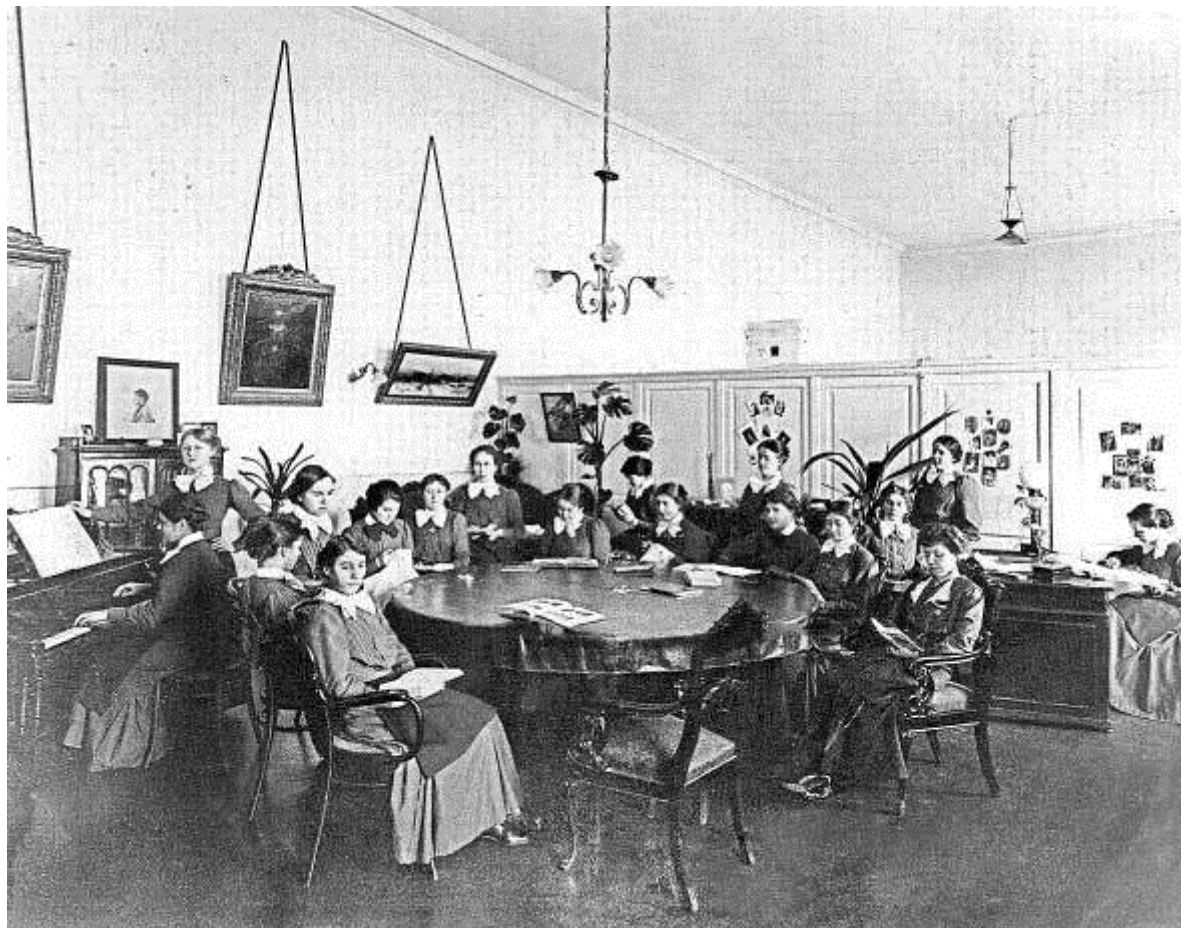
– Ишь, жаднюга! – насмешливо воскликнула Ратманова.

– Нет, нет! Это я только так... Возьми! – и я испуганно подала ей то, что она просила. – А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, – говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. – Это яичко жаворонка... воробушка... голубиное... воронье...

– Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты, деревенщина! – захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.

– Какая ты злая, гадкая! – бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после героического подвига, направилась она в другой конец дортуара.

Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которой я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.



Воспитанницы Смольного института в гостиной. 1889 г.

Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какую она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине Вдовьего дома Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрызг и ссор. После жизни во Вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление

живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неутомимая натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканием, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, невоздержанная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить направо и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.

Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатией которых тоже не пользовалась. Вечно изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лица в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С таким же индифферентизмом и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, – особенно высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую душой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.

Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мовешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней со своею благодарностью. Однако мне пришлось не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.

Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всю свою последующую жизнь она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова

будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.

За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повинованием подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил.

Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же, не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подошло от голоду!» Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.

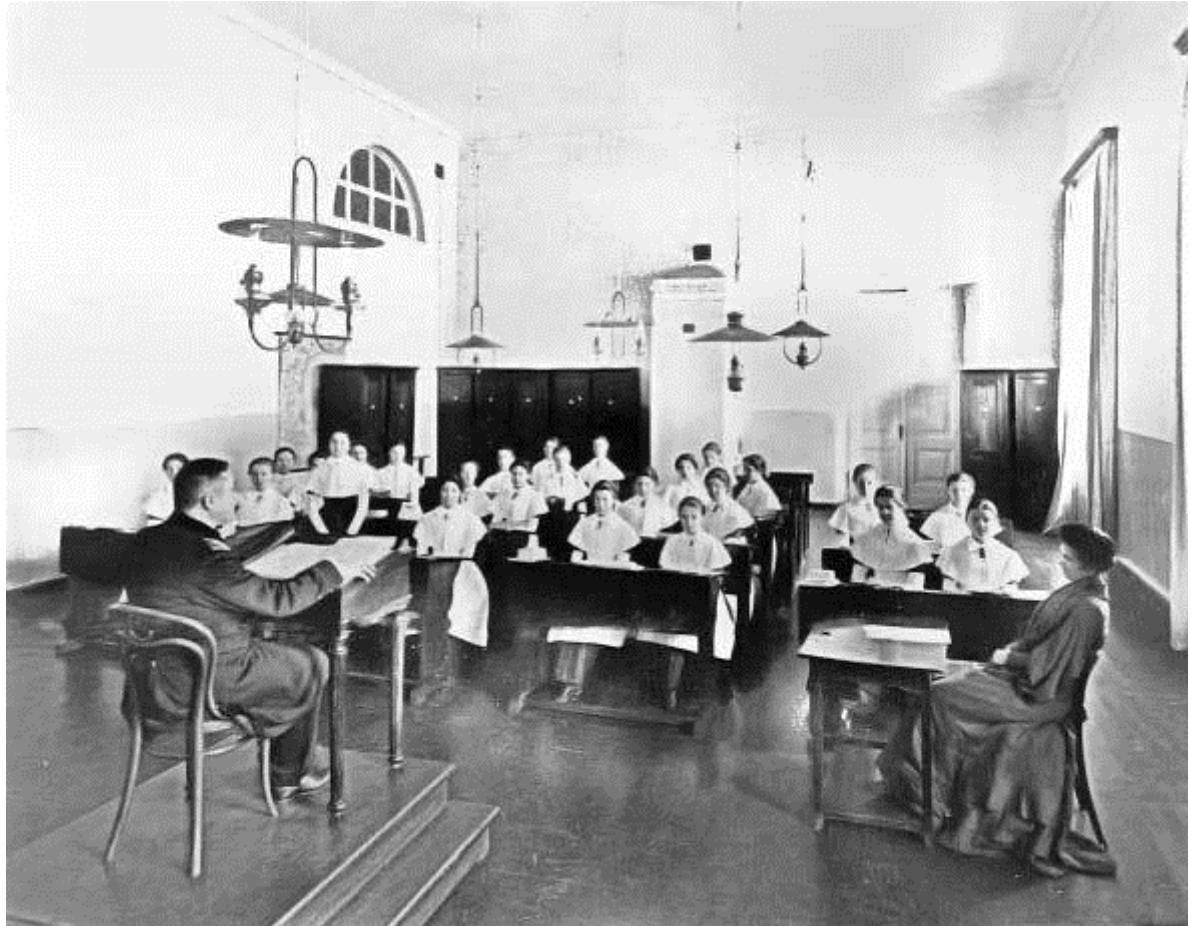
Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически.

Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которою она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.

Однажды утром после звонка на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужила 12 с плюсом и большую похвалу от учителя.

На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазма сдавила ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-нибудь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в

котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе она умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно, – у «татап» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывая на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т. п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала: «Дитя мое! вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?»



Воспитанницы на уроке. 1889 г.

«Моя мать и в крепостническую эпоху придавала большое значение приобретению знаний, но тогда она смотрела на это с утилитарной точки зрения. “Больше будешь знать, больше будешь зарабатывать”, – говорила она своим детям»

(Елизавета Водовозова)

После окончания урока мы строились в пары, чтобы идти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она ввиду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!» Конфузливо улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиралась между парами.

Фанни менее, чем кто-нибудь из нас, должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничною пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей

было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьей кожей»¹⁹¹ – любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке.

Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо, мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и по-прежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине, – и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвести. С подругами она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» – «Что ты все говоришь – у вас да у вас? У нас то же, что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» – насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!» – отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегией не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках тоже относилась к ней весьма любезно, но m-ле Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.

– Это что такое?..

– Маме письмо.

– Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?

– Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.

Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.

– Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого кроме полек никто здесь не понимает? Смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классною дамой? С тех пор как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею матерью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?

Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.

– Дрянь! Плакса! – бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса. Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.

Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услышали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.

– Не смей выходить из дортуаров! – кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы. В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-ле Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной,

пробежавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать... А тут такое, такое!..» – и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.

И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали, – побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.

Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя, в чем дело, произнесла:

– Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни со своими родственниками.

– О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? – как только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.

– Как, вы этого не знаете? – закричала Тюфяева. – Ах вы, фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трющоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.

Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные» как старших, так и младших классов пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, расспрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по нескольку раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.



Преподаватели Смольного института. 1889 г.

Как только Фанни привели в лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, м-лле Верховская в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и м-лле Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидала особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли уже извещенные о событии дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерное презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!» Голембиовская как ужаленная вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время, подняв глаза к небу, то есть к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немислимо отвечать на это что бы то ни было.

– Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею? – вскричала м-лле Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской. – Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?

Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.

Фанни пришла в сознание ненадолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которую неизменно следовали Верховская и Тюфяева, – им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла, как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классною дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.

Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.

После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки^[10].

Глава II

Жизнь институток

Суровая дисциплина. – Холод, голод и посты. – Преждевременное вставание. – Охлаждение к родителям. – Презрение к бедным родственникам. – Традиционное обожание и причина этого явления. – «Отчаянные» и их значение. – Произвол классных дам

Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприветна, неуютна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой.

В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар. «Для первого раза, так и быть, оставь салоп, – сказала она, – но помни, что у нас это строго запрещено».

Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! Торопитесь!»

Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя и с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно

было так рано подыматься с постели в окончательно остывшей спальне и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.

Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас от сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация (перемена – от *лат. recreatio*. – *Примеч.* *Е. Н. Водовозовой*), звонок извещал о необходимости идти в столовую, – одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» – вот что мы слышали с утра до вечера.

Хотя утренняя молитва происходила в семь часов, следовательно, на наш туалет полагался целый час, но этого времени едва хватало; институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которой лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. Застегнуть платье назад, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), подвесить их жгутами на затылке, пришить бант в самом центре – на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая – для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока наконец с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изошрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.

Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но большая часть и этих развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На масленой неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в рождество – елку на счет воспитанниц и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастью, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцевали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Поохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немислимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцевать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.



Таврический сад – памятник садово-паркового искусства в центральной части Санкт-Петербурга. Располагается в квартале, ограниченном Кировочной, Потемкинской, Шпалерной и Таврической улицами

Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены своими классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада.

Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу ледящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку^[11]. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишённые какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум – и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы,

брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.

Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здоровья увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащих мало усидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.

Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье – драчена или пирожок со скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазную с тем же маслом или габер-суп^[12]. В обед – суп с крупой, второе – отварная рыба, называемая у нас «мертвечиной», или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье – крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.

Институт стремился сделать из своих питомцев великих постниц. Мы постились не только в Рождественский и Великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в Великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена была наконец комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в Великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в Рождественском – не более двух, но по средам и пятницам постничали по-прежнему.

Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное, и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.

Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день, решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы *промыслить* себе «кусоч», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты, – вот мы к ней и подъедем», – сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу подруг, указывая на то, что ее учительница музыки – особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.

– Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!.. – И просительницы убегают. Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.

– Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим! – пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним, стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.

– С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!

– Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся... Купи нам по этой записке...

– Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться... Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки... Прямо говорите, на сколько купить и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.



Галерея второго этажа жилого флигеля Смольного института

Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленную печку на том или другом коридоре.

– Пойду еще печки шупать, – грубо ворчит сторож, – суну под лавку в нижнем коридоре – вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете...

Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают разделить трапезу.

Несмотря на то что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так и своекоштные должны были получать от казны все необходимое, каждой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов, – эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках, – выделять в них антраша и пируэты не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой танцевавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно, надеясь на то, что начальство обратит наконец внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.

Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или, во всяком случае, значительное мужество для того, чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность – не порок, то гораздо хуже всех пороков.

В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего, тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь по крайней мере рублей пятнадцать-семнадцать. Но и эту сумму мудро было ограничиться: перед рождественскими праздниками воспитанницы устраивали в складчину елку, перед пасхой необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дяконом, с учителями, инспектрисою.

Существовал обычай праздновать именины, то есть угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивалось сразу несколько рублей; было и множество других расходов, – избежать их было чрезвычайно мудро. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все, что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.

В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напомиравшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни

человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставлял ее все глубже погружаться в тину институтской жизни, все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-помалу возникали недоразумения, – прежде всего на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла, или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбой дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест – единственное украшение, которое вам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.

Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. М-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся, выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она, хотя на несколько часов, оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости^[13]. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.

– Дети! Я еду в гостиный двор, – объявляет она. – Что кому нужно?

Одна просит купить мыло, другая – помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».

– Что тебе за охота мыться такую дрянью? Я за шестьдесят копеек куплю тебе превосходное мыло...

– Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, а раньше как через три месяца мне не пришлют денег из деревни.

– Как хочешь. Я могу купить и в пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом в прачечной белье мою. Ведь от него, пожалуй, салом несет!..

– Тогда, пожалуйста, mademoiselle, купите такое, какое вы советуете, – спешит заявить воспитанница, опасаясь рассердить Верховскую своим упорством и заставить ее заподозрить себя в расчетливости.

Так бывало с маленькими воспитанницами, а в старшем классе они уже привыкали к дорогим туалетным принадлежностям и сами просили не покупать дешевых.



Воспитанницы Смольного института с преподавателями и классными дамами.

«Женщина, – слышали мы чуть не на каждой его лекции, – самое возвышенное, самое идеальное существо. Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду... Только женская грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску и тяжесть одиночества»

(Елизавета Водовозова)

Там, где классные дамы не подбивали воспитанниц на покупку дорогих вещей, они вынуждали их тратиться на что-нибудь другое. Например, у одной классной дамы, Лопаревой, была страсть навязывать лотерейные билеты, чем она, вероятно, оказывала услугу кому-нибудь из своих знакомых. Несмотря на то что раздача их была сопряжена для нее с некоторыми неприятностями, она продолжала делать свое.

– Кто из вас возьмет лотерейный билет? Всего по четвертаку... Прехорошенькие вещицы на выигрыше: салфеточки, запонки, пряжки, подушки для булавок...

Все молчат.

– Долго я буду дожидаться? Павлухина, ты сколько берешь?

– Не знаю, право...

– Кто же знает, если ты не знаешь? Говори же наконец...

– Один...

– Один? Да чего же ты боишься? Ведь если ты возьмешь даже четыре билета, у тебя все же останется еще два рубля!..

– Хорошо.

Лопарева немедленно записывала за Павлухиной четыре билета.

– А ты, Осипова, сколько берешь? Хотя у меня нет твоих денег, но я с удовольствием одолжу тебе до приезда твоего отца.

– Как же мне просить у него денег на лотерею, когда он только что купил мне ботинки и перчатки? Он, наверно, откажется: скажет, что мне не нужны здесь ни запонки, ни салфетки, которые разыгрываются.

– Можешь сказать твоему отцу, что билеты эти берутся не для того, чтобы что-нибудь выгадать для себя, а чтобы помочь несчастному семейству. Если ваши родители не приучили вас дома к состраданию, то мы обязаны делать это.

После такого внушения билеты разбирались, хотя по-прежнему весьма неохотно, но беспрекословно. Дело доходит до воспитанницы Петровой, одной из «отчаянных». М-Ше Лопарева, не ожидавшая ничего хорошего для себя от этой воспитанницы, уже повернулась, чтобы уйти в свою комнату, но та сама подошла к ней и отчеканила:

– Денег для этих билетов я просить не буду... Моя мать не знает несчастного семейства, в пользу которого вы распродаете билеты... Нам и для собственной еды приходится то и дело кланчить деньги у родителей...

– Гадина! Пошла прочь! – вскричала Лопарева и изо всей силы хлопнула за собою дверь.

– Счастливая! Сумела отвязаться от проклятых билетов! – с завистью говорит Петровой одна подруга. – Как бы я хотела быть такою же отчаянной, как ты! Да вот не могу...

Дорого обходились нам и наши горничные; в каждом дортуаре служила одна из них. Она обязана была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы, а также служить как нам, так и ей. Она действительно убирала дортуар, но служила исключительно классной даме. Нужно заметить, что воспитанницы обязаны были сами убирать свои кровати и ящики табуретов. Если перед уходом в класс кто-нибудь из нас забывал это сделать или плохо выполнял эту обязанность, ее бранили и наказывали. Если горничная по уходе воспитанницы замечала беспорядок на ее кровати или в табурете, она старалась исправить эту небрежность, но только для той, которая покупала ее любезность; на беспорядок же у воспитанницы, от которой она мало получала, она нередко даже обращала внимание классной дамы. Несмотря на то что каждая воспитанница дарила горничной деньги за ее услуги, дортуарная дама два раза в год (в Пасху и Рождество) делала сбор на покупку для нее подарка. Вследствие этого дортуарные горничные сравнительно с остальной прислугой института быстро наживались, что давало им возможность через несколько лет после вступления в эту должность выходить замуж. Тут уже воспитанницам предстояла трата более значительная, чем все предыдущие.

– Дети! – обратилась к нам однажды m-lle Верховская. – Дортуар mademoiselle Лопаревой сделал прекрасное приданое своей горничной. Смотрите же и вы, не ударьте в грязь лицом... Подумаем сообща, что кому из вас попросить у родителей для Даши. Ты, Маша, что собираешься сделать для нее?

– Поддюжины носовых платков...

– Прекрасно, но ведь это же пустяки! Мы вот как устроим это дело: пусть каждая из вас купит для нее какой-нибудь пустячок в приданое и что-нибудь существенное. Ольга! Твоя сестра имеет много вкуса: она сумела бы выбрать для нее простенькое, но хорошенькое подвенечное платье! Какой-нибудь недорогой шерстяной материи... Ну, а еще купи ей, например, чулки или что-нибудь в этом роде...

Между тем сестра этой воспитанницы не имела собственных денег; ее муж сам покупал для нее наряды, но таких интимных сторон жизни институтка уже никогда не передавала классной даме.

– А твоя мама, Аня? Я знаю... она не может много тратить! (Верховская намекала на то, что мать этой воспитанницы была бедна, так как она приходила в институт очень скромно одетой.) – При этом намеке воспитанница краснела от стыда. – Она может не покупать

нашей невесте никакого пустячка, но пусть приобретет для нее только полдюжины готовых рубашек. Это не обойдется ей очень дорого!.. А ты что?

– Перчатки.

– Неужели только? Подумай сама, какое же составит приданое, если одна из вас подарит перчатки, другая – полдюжины носовых платков... Вам нечего скаречничать! Ведь вы собираете на Дашу в последний раз.

А между тем в нашем дортуаре уже вторая горничная выходила замуж, к тому же сборы на праздничный подарок происходили регулярно.

Некоторые воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два, за три месяца она обыкновенно говорила горничной о том, что ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до той поры, пока скопит себе деньги. Иногда воспитанницы в складчину покупали какой-нибудь подарок, иногда несколько воспитанниц дарили ей отдельно каждая, – только Верховская никогда не принимала подарков.

В одном из дортуаров две воспитанницы-сестры положили на стол своей классной дамы большой изящный ящик с чаем, обтянутый атласом и затканый выпуклыми китайскими фигурами.

– Кто из вас положил мне это? – спрашивала классная дама, входя в дортуар с ящиком в руках.

– Мы, mademoiselle, – отвечали обе сестры.

– Но кто же из вас? Ты или твоя сестра? – насмешливо улыбаясь, переспросила дама.

– Мы обе! – отвечали удивленные сестры. Подарок был сравнительно дорогой – несколько фунтов высокого сорта желтого чая; но классная дама, вероятно, не подозревала его ценности, а может быть, потому, что рассчитывала получить другое, она не постыдилась в упор поставить такой вопрос.

Охлаждению между родителями и дочерьми содействовал и весь строй институтской жизни. Нужно помнить, что в ту пору институт был совершенно закрытым заведением: воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, и они мало-помалу забывали обо всем, что делалось вне их стен. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным, – их отчуждение от родителей и родного гнезда росло все быстрее. Скоро у них не хватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она «обожает», сколько раз в эту неделю она встретила «обожаемый предмет», не угаит и того, как она была наказана, за что на этих днях придиралась к ней «ведьма», какой балл она получила у учителя, – и материал для разговора исчерпан. Мало того, она замечает, что и эти новости, для нее столь значительные, совсем не интересуют ее родных, а ее братья и кузены относятся к ним даже насмешливо. Это ее раздражает и мало-помалу озлобляет против своих. Она старается все меньше знакомить их с событиями институтской жизни и иногда через минут десять после свидания совсем умолкает, а между тем ей приходится сидеть с родными в приемные дни часа два и более.

Расширение умственного кругозора учениц посредством преподавания могло бы еще поддерживать между родителями и их дочерьми интерес друг к другу, но в то время, которое я описываю, оно в России всюду было поставлено очень плохо, а в Смольном еще того хуже. Подходящего чтения, которое могло бы хотя несколько заинтересовать учениц, не существовало. Если и было несколько любительниц чтения (их вообще было крайне мало), то они читали плохие французские романы в оригинале, а еще чаще в безграмотных переводах.

Классные дамы – наше непосредственное и ближайшее начальство – не могли и не желали возбуждать в нас стремление к чтению. Сами крайне невежественные, они настойчиво проповедовали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности – религию. «Остальное все, – как без стеснения выражалась m-ле Тюфяева, – пар и, как пар, быстро улетучится... Вот я, например, после окончания курса никогда не раскрывала книги, а, слава богу, ничего из этого дурного не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня».

В дореформенное время нас не обучали естественным наукам, и мы никогда ничего не читали по этим предметам. Да и могли ли они нас интересовать при нашей затворнической жизни? За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают сгущаться, – нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. Все эти апартаменты производили на новенькую удручающее впечатление чего-то холодного, неуютного, что заставляло от страха замирать робкое детское сердце, но проходил год-другой, и никто из нас не обращал на это внимания, никто не находил эту обстановку ни постылою, ни странною. Спрашивается: почему не могли окрасить стены каждого дортуара в особый цвет, обвести их сверху каким-нибудь цветным бордюром и тем придать спальне менее казенный вид? Кроме приемной залы, где были портреты царской фамилии, стены были повсюду совершенно голые. Почему не могли повесить на них портретов знаменитых писателей, олеографии (многокрасочные печатные копии – от *лат.* *oleum* и *греч.* *grapho*) с историческими сюжетами, пейзажи красивых местностей? Почему не позволялось воспитанницам прикреплять к изголовью кроватей фотографии родителей и родственников, почему запрещено было ставить на подоконниках горшки с цветами, за которыми могли бы ухаживать воспитанницы? Все это хотя несколько скрашивало бы однообразие жизни, возбуждало бы человеческие чувства, хотя слабо поддерживало бы любовь к прекрасному.



Жилой флигель Смольного института.

Институтки вставали в шесть утра и имели строго регламентированный распорядок дня, подчиненный полезности их воспитания: в день могло быть до 8 уроков. Девушек закаляли, поэтому температура в спальнях не превышала 16 градусов, спали они на жестких кроватях и умывались холодной невской водой

Этот казарменный режим, вытравлявший любовь к родителям, привязанность к родному гнезду, и другие человеческие чувства, клал особенно постыдный отпечаток на отношение воспитанниц к бедным родственникам. Как краснели они, когда в приемные дни им приходилось садиться подле плохо одетых матерей и сестер! Как страдала институтка, когда в это время, нарочно, чтобы переконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к ее родственнице с каким-нибудь вопросом на французском языке, которого та не знала. Конечно, в таких случаях классные дамы могли только бросать презрительно-насмешливые взгляды, но вслух редко решались выразить свое презрение. Однако, желая дать это почувствовать воспитаннице, они зачастую останавливали свое внимание на особах, являвшихся в институт в модном туалете. Провинится, бывало, в чем-нибудь воспитанница, имеющая богатых родных, и классная дама замечает: «Воображаю, как тяжело будет твоей достойной матушке узнать о твоём дурном поведении!» А между тем все достоинство этой матери, с которой классная дама никогда не сказала ни слова, состояло только в том, что та являлась в приемную в богатом туалете. Не мало было таких случаев: воспитанницу спрашивают, кто у нее был в последнее воскресенье. «Няня», – отвечает та, и не только классной даме говорит она это, но и своим подругам, а между тем к ней приходила ее родная мать, но она была бедно одета, и институтка отреклась от родной матери. Вот как был велик ужас сознаться в бедности своих родителей! Ни с кем не разговаривая в институте о семье, если она не была богатою, воспитанница скоро забывала о своем тяжелом материальном положении и делалась все более чужою и далекою членам своей родной семьи. Матери, несколько лет не выдавшие своих дочерей после их

определения в институт, обыкновенно поражались нравственною переменою, происшедшею с ними за время разлуки.

Постепенно утрачивая естественные чувства, институтки сочиняли любовь искусственную, пародию, карикатуру на настоящую любовь, в которой не было ни крупинки истинного чувства. Я говорю о традиционном институтском «обожании», до невероятности диком и нелепом. Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а в младших классах и воспитанниц старшего возраста. Встретит, бывало, «адоратриса» (так называли тех, кто кого-нибудь обожал) свой «предмет» и кричит ему: «adorable», «charmante», «divine», «celeste» («восхитительная», «прелестная», «божественная», «небесная» – *франц.*), целует обожаемую в плечико, а если это учитель или священник, то уже без поцелуев только кричит ему: «божественный», «чудный»! Если адоратрису наказывают за то, что она для выражения своих чувств выдвинулась из пар или осмелилась громко кричать (классные дамы преследовали нас не за обожание, а лишь за нарушение порядка и тишины), она считает себя счастливою, сияет и имеет ликующий вид, ибо она страдает за свое «божество». Наиболее смелые из обожательниц бегали на нижний коридор, обливали шляпы и верхние платья своих предметов духами, одеколоном, отрезывали волосы от шубы и носили их в виде ладанок на груди. Некоторые воспитанницы вырезали перочинным ножом на руке инициалы обожаемого предмета, но таких мучениц, к счастью, было немного.

Мне так часто приходилось упоминать об «отчаянных», что я хочу сказать о них несколько слов. Как это ни странно, но «отчаянные» вследствие своего дерзкого поведения пользовались у нас некоторыми преимуществами. Хотя начальство их жестоко ненавидело, но в то время как классные дамы за ничтожные провинности награждали трепкой и пинками «кофулек», они несравненно более стеснялись с «отчаянными», особенно старшего класса, которые могли наговорить им много неподходящего; классные дамы называли это дерзостями, а большая часть воспитанниц – «правдою». Эта «правда» роняла авторитет дам перед классом, и они многое спускали «отчаянным», только бы лишний раз не услышать их дерзкие речи.

Существование «отчаянных» приносило некоторую пользу и остальным воспитанницам: во-первых, большинство их защищало не только собственные интересы, но и интересы класса, вступаясь чаще всего за тех, которые были несправедливо наказаны. Можно смело сказать, что отчаянное поведение некоторых воспитанниц старшего класса, где они были уже более находчивыми, несколько ослабляло грубый произвол и самодурство классных дам.

Каким образом могли существовать отчаянные, когда начальство всегда могло выбросить их из института? Происходило это, вероятно, потому, что не так-то просто было уволить из института воспитанницу, которая была не по душе начальству. Когда начальница, осведомленная о дурном поведении той или другой воспитанницы, доносила об этом (еще в гораздо более ранние времена, чем те, которые я описываю) императрице Марии Федоровне, та не поощряла таких жалоб, а напротив – ставила их в величайшую вину не только классным дамам, но и начальнице. Даже гораздо позже, когда высшее заведование институтом перешло к императрице Александре Федоровне, которая сравнительно с предшествующею государынею почти не занималась институтом, император Николай Павлович лично просил начальницу Леонтьеву оставить все порядки, весь строй и дух института, как это было при его матери, императрице Марии Федоровне. Однажды Леонтьева донесла императрице Александре Федоровне о том, что одну из воспитанниц следовало бы выключить за шалости. Императрицу это расстроило, тем более что она в это время была больна. Узнав об этом, Николай Павлович был страшно взбешен, что таким сообщением потревожили его супругу во время ее болезни, и немедленно приказал передать Леонтьевой, чтобы она не смела расстраивать его супругу донесениями о таких пустяках, как школьные шалости институток, и еще раз строго подтвердил, чтобы она всецело руководствовалась правилами, введенными для институтов его покойною матерью. После того Леонтьева, видимо, была более осторожна в своих донесениях: в ее письмах к

императрице Марии Александровне проглядывает уже другой характер. «Некоторые девушки слишком резвы, но это так естественно в их юном возрасте», – вот в каком тоне писала она новой императрице. Вероятно, императрица Мария Александровна тоже не выказывала желания легко выключать воспитанниц из института. За все время моего воспитания из института были уволены только две воспитанницы и два раза хотели уволить меня, но это не удалось ни в тот, ни в другой раз. Вообще выкинуть воспитанницу из института было не так-то легко, в чем я убедилась впоследствии по собственному опыту, и вот этим-то я объясняю существование у нас «отчаянных».

Нравственное воспитание у нас стояло на первом плане, а образование занимало последнее место; вследствие этого наши учителя не имели никакого значения в институте. Все воспитание было в руках классных дам, являвшихся нашими главным руководительницами и наставницами.



Мария Александровна (1824–1880) – принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III

Дочь бедных родителей, окончив курс в институте, шла в гувернантки, – это было почти единственное средство заработка для женщины того времени. Она могла быть и учительницей в пансионе, но их было слишком мало, чтобы приютить всех желающих. Институт редко принимал в классные дамы очень молодых девушек, а потому им по окончании курса в институте волей-неволей приходилось начинать свою жизнь с

гувернантства. Умственно и нравственно неразвитая, – все ее образование заключалось в долбне и в переписывании тетрадей, – белоручка по воспитанию и привычкам, она не могла заинтересовать детей своим преподаванием, не имела и практического такта для того, чтобы дать отпор тогдашним избалованным помещичьим детям. Положение гувернантки в крепостнический период было вообще самое печальное, а положение гувернантки-институтки вследствие полной неподготовленности к жизни было еще того хуже^[14]. Меняя одно место на другое, выпив до дна полную чашу обид и унижений, девушка после нескольких лет гувернантства доживалась наконец места классной дамы, если только, конечно, во время своего институтского воспитания она сумела хорошо зарекомендовать себя перед начальством. За время гувернантства она не обновила своего умственного багажа, а только испортила характер и явилась на казенную службу уже особою озлобленной, с издерганными нервами, мелочною и придиричивою. Окруженная молодыми девушками, она не могла без зависти смотреть на молодые лица. В этом возрасте и она мечтала о счастье взаимной любви (других мечтаний в то время у молодой девушки не бывало), и они, как она, тоже, вероятно, рассчитывают выйти замуж за богатых и знатных, которые с обожанием будут склонять колени перед ними. Но ее мечты не осуществились, ее встретили в жизни лишь тяжелая зависимость и неволя... И с ними, – думала она, – будет то же, что и с нею, но они счастливее ее уже тем, что еще могут надеяться и мечтать!.. И новая классная дама сразу становилась с воспитанницами в официальные отношения, а затем делалась все более придиричивою и злою. Ее гувернантство не дало ей педагогической опытности, а если бы она и приобрела ее, то не могла бы применять ее в институте, где существовали особые правила и традиции для воспитания и где весь строй жизни был противоположен семейному.

В качестве классной дамы она продолжала влачить свою жалкую жизнь, не скрашенную даже привязанностью воспитанниц, вверенных ее попечению. Через несколько лет своей службы она уже была на счету «старой девы», и наконец сама приходила к окончательному выводу, что жизнь ее обманула, что больше ей уже не на что рассчитывать, и, разочаровавшись во всем и во всех, она начинала думать только о своем покое. Вот почему классные дамы так ревниво охраняли мертвую неподвижность, вот почему они не допускали шума даже во время игр и забав. Невежественные, мелочные, придиричивые, многие из них были настоящими «фуриями» и «ведьмами», как их называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, чувствительно теребили их; со старшими было немисливо позволять это себе, но зато их можно было наказывать за всякий пустяк: за недостаточно глубокий реверанс, за смех, за оборванный крючок платья, за спустившийся рукавчик, за прическу не по форме и т. д. до бесконечности.

К классной даме принято было обращаться *только* с просьбою: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнений на фортепьяно», «Позвольте мне выйти в коридор», но вступать с нею в простой, человеческий разговор считалось непозволительною фамильярностью. Самым обычным наказанием было сорвать передник, поставить к доске на несколько часов, что обыкновенно сильно мешало готовить уроки к следующему дню. Некоторые классные дамы, наказывая воспитанницу младшего класса, не позволяли ей плакать: резко отрывая носовой платок от глаз ребенка, они кричали: «Souff rez votre punition, souff rez» (Терпите ваше наказание, терпите – *франц.*). Этим достигали того, что дети скоро переставали стыдиться наказания, а в старшем классе к нему уже относились совершенно равнодушно, как к неизбежной повинности. Я не буду говорить особо о наказаниях, так как о них то и дело приходится упоминать в этом очерке, но не могу не сказать несколько слов об одном из них, тем более что оно совершенно подрывало физические и нравственные силы девочек.

Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастье случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно лишь в первый год их вступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшем классе редко кто из девочек понимал позор доноса

на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастье с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали и одна из них замечала, что у подруги не все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы – из какого дортуара эта особа? Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.

Этого несчастья воспитаннице никогда не удавалось скрыть от подруг, а между тем оно обыкновенно повторялось... Подруги, считая себя из-за нее окончательно опозоренными, все запальчивее выражали к ней ненависть и презрение, не называя ее иначе, как позорными эпитетами, толкали, щипали ее. Чтобы предупредить повторение этой слабости, воспитанницы каждый раз, когда кто-нибудь из них просыпался, считали своею священной обязанностью будить несчастную. В дортуаре было до 30 девочек, они то и дело просыпались ночью и совсем не давали спать злосчастному ребенку. Понятно, что при этих нападках несчастье с ребенком начинало быстро учащаться и в конце концов делалось хроническим явлением. Такие девочки являлись настоящими мученицами. В то время как бедную девочку чуть не сживали со света, никто никогда не обратился к доктору, чтобы узнать, не подвержена ли она какой-нибудь болезни, не следует ли ее лечить, вместо того чтобы карать с такою жестокостью. Одна девочка, испытывая подобные пытки, из здорового, краснощекого ребенка, каким она поступила в институт, через полгода превратилась в хилое, желтолицее существо. В конце концов ее удалили из института. Когда через несколько месяцев после этого она приехала к нам навестить свою родную сестру, бывшую в старшем классе, – этот еще недавно затравленный зверек имел вид веселый и здоровый.

Грубость и брань классных дам, под стать всему солдатскому строю нашей жизни, отличались полною непринужденностью. Наши дамы, кроме немки, говорившей с нами по-немецки, обращались к нам не иначе, как по-французски. Они, несомненно, знали много бранных французских слов, но почему-то не удовлетворялись ими и, когда принимались нас бранить, употребляли оба языка, предпочитая даже русский. Может быть, это происходило оттого, что выразительною русскою бранью они надеялись сильнее запечатлеть в наших сердцах свой чистый, поэтический образ! Как бы то ни было, но некоторые бранные слова они произносили не иначе, как по-французски, другие не иначе, как по-русски. Вот наиболее часто повторяемые русские выражения и слова из их лексикона: «вас выдерут, как сидоровых коз», «негодница», «дурында-роговна», «колода», «дубина», «шлюха», «тварь», «остолопка»; из французских слов неизменно произносились: «brebis galeuse» (паршивая овца), «vile porcelaine» (сволочь). Брань и наказания озлобляли одних, а к другим прививали отчаянность и бесшабашность, иных делали грубыми и резкими, а многих заставляли терять всякое самолюбие. И это естественно: там, где не действует убеждение, уже никак не может благотворно влиять наказание, в корне убивающее стыдливость.

Воспитание ограничивалось строгим надзором классных дам лишь за внешним видом и поведением учениц: они зорко наблюдали за тем, чтобы воспитанницы были одеты, кланялись, здоровались, отвечали на те или другие вопросы точь-в-точь так, как это было в институтских обычаях. За малейшее уклонение от общепринятого этикета классная дама могла карать по своему усмотрению. В младшем классе она в то же время обязана была объяснять детям уроки, заставлять их читать и писать на трех языках. Но эту обязанность выполняли очень немногие, и притом обыкновенно крайне формально и небрежно. Так же

мало внимания обращали они на то, кто как учится, обнаруживают ли ответы ученицы ее способности или показывают полное непонимание и тупость. По своему невежеству и отсутствию педагогических способностей классные дамы не могли быть полезными кому бы то ни было, а тем более воспитанницам старшего возраста, с большинством которых у них были даже враждебные отношения. Надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу в старшем классе считалось настоящим героизмом. Как бы жестоко ни обращалась классная дама с воспитанницами, выполняла она или нет свои обязанности, не превышала ли своей власти, – за этим никто не следил, даже инспектриса, хотя это было ее прямым долгом. Понятно, что воспитанницам некому было жаловаться на возмутительное обращение с ними классных дам.



Группа преподавательниц и классных дам Смольного института

«Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его»

(Константин Ушинский)

М-ле Нечаева, дортуарная дама одного из отделений кофейного класса, всегда отличавшаяся необыкновенною неуравновешенностью своего характера, начала вдруг приходить все в большее нервное расстройство: то и дело немилосердно трепала кофулек, бросала в них книгами, беспрестанно ставила их на колени в угол, оставляя в таком положении по несколько часов. Из ее дортуара вечно раздавались крики, стоны, слезы. Девочки приходили в класс и столовую с распухшими от слез глазами. Скоро к этому присоединились и новые выходки m-ле Нечаевой, от которых ее питомицам приходилось страдать еще тяжелее: по ночам она внезапно вбегала в дортуар с криком «вставайте!», хватала за руку спящих детей и заставляла их одеваться, а затем вопила пронзительным голосом: «На молитву! Господь прогневался на вас!» При этом она бросалась на колени, увлекая за собой и детей. В то же время она сильно изменилась: исхудала, не ходила, а как-то суетливо бегала, громко разговаривала сама с собою; если кто-нибудь обращался к ней с замечанием, она подымала шум, возню, скандал. Начальство по этому поводу тайно перешептывалось между

собой, но никто ее не трогал и, вероятно, долго не тронул бы, если бы ее похождения ограничились лишь ее дортуаром; но они приняли более широкие размеры. Однажды, разбудив воспитанниц и не дав им времени одеться, Нечаева потащила их молиться в класс, добраться до которого приходилось через несколько коридоров. Армия босоногих девочек, из которых многие были в одних рубашках, с отчаянным криком и плачем бежала за нею. После молитвы в классе Нечаева отправилась с детьми в апартаменты инспектрисы. Но к этому времени m-me Сент-Илер уже успела приготовить все, чтобы отправить ее в сумасшедший дом. Инспектриса превосходно знала, что Нечаева уже несколько месяцев до этого происшествия по ночам будила детей и жестоко терзала их, но не ударила палец о палец, пока та не привела к ней ночью полуголых детей.

Прошло уже более полугода после моего вступления в институт, а я совсем еще не могла приспособиться к раннему вставанию, голоду и холоду. Я вечно тряслась от лихорадки, а временами так кашляла, что будила подруг по ночам, днем же мешала им слушать уроки. В то же время меня так одолевала сонливость, что я машинально исполняла приказания, была вялою и неразговорчивою. Класные дамы решили, что я послушная девочка, и выказывали ко мне даже внимание: как только я им попадалась на глаза, они всегда находили, что я больна, и посылали меня в лазарет.

В то время для измерения температуры тела не применяли термометра: лихорадку доктор определял по пульсу и ощупывая лоб своими руками. Прodelав со мною все, что при этом полагалось, он говорил, обращаясь к надзирательнице: «Ее всегдашняя болезнь – лихорадка. Пospит, поест, обогреется – и завтра же будет здорова, а отправится в класс – опять то же будет... В помещичьих-то домах жарко топят, плотно кормят, тепло укрывают; натурально, что такие дети не могут выносить у нас температуры девять и восемь градусов».

И я блаженствовала. Мне нравилось даже то, что служащие в лазарете называли друг друга по именам, точно на воле. Не страдая более от холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровою. Мое благополучие продолжалось до тех пор, пока не приводили нескольких воспитанниц, страдавших таким же недомоганием. Я смотрела на них как на врагов, хотя понимала всю законность моего изгнания из лазарета, в который я то и дело возвращалась и где проводила не только дни, но недели и месяцы.

Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. Весь его служащий персонал – доктор, надзирательница, лазаретная дама – были простые, добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами участливо и добропорядочно. Доктор прекрасно понимал, что причиною малокровия и лихорадок, которыми воспитанницы страдали в первый год своей институтской жизни, были скудное питание и суровая жизнь, и охотно держал в лазарете слабых здоровьем, а по выходе из него многим прописывал молоко или на некоторое время больничную пищу, – более он ничего не мог сделать. Лазарет, в котором воспитанницы могли выспаться вволю, где они отдыхали душой и телом, спасал многих из них от преждевременной гибели. В него шли охотно даже тогда, когда туда отправляли в наказание, что, впрочем, практиковалось у нас довольно редко и исключительно в старшем классе.

Несмотря на крайне неблагоприятные условия институтской жизни того времени, процент смертности среди воспитанниц был сравнительно ничтожен. По словам одного врача, серьезно занимавшегося исследованием причин этого явления, это происходило прежде всего от того, что при самом ничтожном заболевании лихорадкою, головною болью, незначительным расстройством желудка воспитанниц немедленно отправляли в лазарет и укладывали в кровать, – таким образом, в самом начале заболевания мешали дальнейшему развитию болезни. Сильному распространению зараз и заболеваний препятствовали также чистота и опрятность хорошо вентилируемых помещений, регулярная жизнь и строго определенное время для сна и еды, что в сильной степени ослабляло возбужденное, нервное

состояние воспитанниц. Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных.

Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готовили уроки к другому дню, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковой косынкой, служили мне подушкой; я опускалась на пол к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня свои платки, и я засыпала. Дежурная дама не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала о моем существовании, то «сторожики», у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала учебник.

Сонливость и лихорадка, от которых я страдала в первый год институтской жизни, вечное пребывание в лазарете, все более развивающаяся лень из рук вон плохо отражались на моих занятиях. Этому содействовал и обычай, крепко укоренившийся в нравах учителей: если воспитанница несколько раз плохо отвечала кому-нибудь из них, он переставал вызывать ее, и она могла оставить заботу о своем учении, уверенная, что он не потревожит ее в продолжение учебного сезона. За нерадение в учении и за плохие отметки никто с нас не взыскивал, никого не беспокоила мысль, что воспитанница бросила учиться.

Изо всего штата классных дам, старых дев, озлобленных ханжей, придирчивых и до крайности тупых, резко выделялась моя дортуарная дама m-lle Верховская. В ту пору, о которой я говорю, ей было лет двадцать пять – двадцать шесть. Она была не только самою умною и образованною между ними, но и самою красивою и молодою. Остальные дамы редко выезжали из института в свои свободные дни, ее же в такое время никогда не было дома, – у нее, видимо, было немало знакомых семейств. Она не только много читала, но даже обстановка ее комнаты носила иной характер, чем у других: над ее столиками и на стенах висели красивые этажерки с книгами, стоял шкаф, наполненный книгами в красивых переплетах, – это были произведения классиков на русском и трех иностранных языках, которые она прекрасно знала и теоретически и практически. Ее молодость, красота, превосходное знание языков, несравненно более высокий уровень образования, обстановка ее комнаты, даже её простое форменное платье, изящно охватывавшее ее стройную высокую фигуру, – решительно все возбуждало к ней неутолимую зависть ее товарок. Они не только вечно сплетничали про нее, интриговали, делали ей какие-то намеки и бесцеремонно подглядывали за нею, когда кто-нибудь ее навещал, но наблюдали даже за ее отношениями к воспитанницам ее дортуара, одним словом, делали ее жизнь просто невыносимою. Все это, видимо, страшно раздражало ее, чрезвычайно вредно отзывалось на ее уже от природы крайне неуравновешенном характере, испорченном институтским воспитанием и, как говорили мне впоследствии, ухаживаниями светских кавалеров, между тем как это существенно все же не меняло ее судьбы.

Только она одна считала своею обязанностью объяснять уроки воспитанницам своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. К несчастью, ей нечасто приходилось заниматься с детьми: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурств иной раз так погружалась в чтение, что не видела и не слышала, что делалось вокруг. Не приходилось ей часто заниматься и потому, что между нею и нами от времени до времени наступали крайне враждебные отношения, когда все без исключения, точно по уговору, употребляли все средства, чтобы держаться от нее в сторонке, и отказывались от занятий, придумывая ту или другую причину. M-lle Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже обворожительною, – и становилась невозможною, когда на нее нападали периоды гнева и вспышек, – тогда мы боялись ее больше всех классных дам. В такие периоды мы сидели в дортуаре так тихо, что не смели пошевелиться, осторожно перевертывали страницы учебника, и у нас стояла гробовая тишина: никто не поверил бы тогда, что тут в огромной спальне сидит более тридцати девочек, и притом в свободное от уроков время.



Иллюстрация к книге Елизаветы Водовозовой «История одного детства». Художник – Н. Петрова

Картина совершенно менялась, когда между нами и Верховскою царствовали мир и согласие. Воспитанницы так свободно, как ни в одном дортуаре, расхаживали тогда по своей огромной спальне, громко разговаривали между собой, и от времени до времени раздавался даже веселый смех. Но вот одна из них подходит к запертой двери комнаты Верховской и кричит по-французски: «Пожалуйста, mademoiselle, расскажите нам что-нибудь или почитайте». К ней присоединяются и остальные подруги, и все то же самое на разные лады кричат ей в дверь, которая скоро открывается. Верховская появляется с милым, добрым выражением лица и садится читать «Записки Пиквикского клуба» или что-нибудь в этом роде и вместе с воспитанницами заливается громким смехом. Также любили мы слушать ее рассказы о том, что она видела в театре, или то, что ей удалось только что прочитать. Иногда эти чтения, которые мы обожали, это мирное отношение к нам Верховской продолжалось месяц-другой, и мы просто блаженствовали. Но вдруг все менялось как по мановению волшебного жезла.

Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что будет читать, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сладостей и приказала садиться тут же. Комнаты классных дам были невелики, и мы разместились не только на ее немногих стульях и диванчике, но и на полу. Прежде всего она начала передавать нам содержание одной комической сценки из балета. Пожевывая сласти и шелкая орехи, мы громко смеялись. Вдруг в комнату вваливается Тюфяева.

– Какая... можно сказать, умилительная картина! Вас тешит их обожание... Как вы еще молоды! А я так плюю, когда они меня обожают и когда ненавидят.

С первых слов этой дамы воспитанницы вскочили со своих мест.

– Кажется, я ничего не сделала недозволенного?

– Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у инспектрисы, может быть, она это и одобрит... – И Тюфяева вышла из комнаты.

Верховская сделала вид, что это не произвело на нее никакого впечатления, взяла книгу и начала читать, но читала без выражения, и через несколько минут с деланным спокойствием заявила:

– Мне надо писать письма... Идите к себе...

Девочки вошли в дортуар и сгрудились в противоположном конце его, откуда их тихие разговоры не были слышны Верховской. «Может быть, еще и сойдет!» – шептала одна из них. «Держи карман!.. Всем достанется на орехи за орехи!..» – острила Ратманова. «Знаете что? Станем на колени перед образом и произнесем двенадцать раз сряду: “Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его”...» – предложила Ольхина. Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасти от всяких напастей. Но на этот раз такое предложение вызвало только раздражение.

В дортуар вбежала пепиньерка и заявила Верховской, что m-me Сент-Илер зовет ее к себе. Она возвратилась, когда нас уже нужно было вести в столовую. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула дверь за собой. Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что на этот раз, пожалуй, все пройдет благополучно. Однако на другой день она встала мрачнее тучи, объявила, что, несмотря на то, что это ее свободный день, она останется дома и будет с нами заниматься вечером.

Когда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала учителю французского языка заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна, хваталась за голову, как от головной боли, и приказала нам садиться. Мы разместились на двух скамьях у стола, а она – у конца его, на стуле. Девочки по ее приказанию по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались, как оттого, что плохо знали, так и оттого, что их пугал мрачный вид и

расширенные зрачки Верховской. «Тупицы! Идиотки!» – злобно кидала она, причем одну воспитанницу так толкнула, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и затем нескольких прогнала от себя толчками. Дошла очередь до меня. «Как? Как? Начинай снова! – топнув ногой, грозно закричала она на меня. Окрик Верховской заставил меня окончательно растеряться. – Ведь на днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол!.. Ты знала... Значит, теперь понадобились фокусы, надругательства!..» Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я громко закричала от боли.

Зазвонил колокол. Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс, чтобы идти с другими в столовую, а меня толкнула в угол, пиная при этом ногами, надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени; после этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели багровым румянцем, глаза были налиты кровью, она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня обычной бранью классных дам на русском и французском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния: «Гадина!.. Проспала чуть не весь год!.. Я трудилась с нею, заставила ее догнать других!.. Вот и благодарность... Подлые, грязные душонки!» Ее руки так тряслись, что я вывернулась от нее и побежала с криком к двери. Она догнала меня, втянула в свою комнату, замкнула дверь и, вся трясась, как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета, но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышался шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, вероятно желая заставить меня вытереть лицо. Но я бросила кружку об пол с криком: «Я все скажу... родным напишу... не смеете драться!»

Когда воспитанницы вошли в спальню, я, рыдая, начала рассказывать им об истязании, только что совершенном надо мною. Чтобы Верховская могла слышать, я нарочно выкрикивала во все горло, но спазмы душили меня, и я бросала только отдельные слова. Наконец я сорвалась с своего места, подбежала к образу, упала на колени и, захлебываясь слезами, во всеуслышание произносила клятву перед богом о том, что с этой минуты я даю слово вечно быть «отчаянной», дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злоке, этой змее подкольной более всех, и призывала в свидетели подруг! При тогдашней моей умственной и нравственной неразвитости эта клятва долго терзала меня, и я не могла отделаться от нее даже будучи взрослой, несмотря на то что выполнять ее для меня было крайне тяжело, и в конце концов я уже начала сама сомневаться в том, следует ли мне быть ей верною.

Однако Верховская была настолько тактичною, что не давала мне повода дерзить ей. Она, конечно, слыхала мою клятву, знала по выражению моего лица, что я начала крайне враждебно относиться к ней, но она больше не обращала на меня ни малейшего внимания, перестала спрашивать у меня уроки, не заставляла меня читать, не подзывала к себе, старалась не произносить моего имени, – одним словом, совершенно оставила меня в покое. Но зато я начала дерзить m-lle Тюфяевой и другим классным дамам и скоро почти официально была причислена к разряду «отчаянных».

За громкий разговор Тюфяева тянет меня к доске, я не упускаю случая сказать ей что-нибудь в таком роде: «Вам не дозволено вырывать у нас рук».

– Будешь стоять у доски два часа!

– Я скажу завтра учителю, что вы не даете мне учиться...

– Сбегай на нижний коридор, попроси солдата купить мне хлеба, – обращается ко мне кто-нибудь из подруг. Если я указываю, что по площадке нижнего коридора только что проходила классная дама, мне обыкновенно возражают: «Какая же ты отчаянная, если не

можешь сделать и этого?» Трясусь, бывало, от страха, но употребляю все усилия, чтобы не обнаружить его перед другими, и, проклиная свою злосчастную долю, пускаюсь в опасное предприятие из страха погубить свою репутацию «отчаянной». Мои похождения далеко не всегда увенчивались успехом, может быть потому, что быть «отчаянной» не было моим призванием: меня то и дело ловили на месте преступления и наказывали. Но я продолжала соблюдать неизменную стойкость и верность принципам «отчаянной», что навлекло на мою голову не только наказания, но и приносило мне душевные терзания, тем не менее все мои выходки и дерзости начальству я старалась делать с веселым видом, желая показать, что мне все нипочем.



Елизавета Водовозова в годы обучения в Смольном институте

После описанного выше происшествия Верховская заметно становилась все более оживленною и веселою, все реже нападали на нее припадки вспыльчивости и гнева, да и они

не проявлялись уже в столь острой форме. Однако и в наступившие теперь длинные периоды своих любезных отношений с воспитанницами она уже более не усаживала их в своей комнате и не оделяла сладостями, – это, видимо, было запрещено ей тогда же инспектрисой. Теперь, когда она читала с воспитанницами, я уходила на другой конец дортуара и садилась на табурет, но она мне не делала никаких замечаний по этому поводу. Ее безоблачное настроение сделалось наконец обычным явлением, и она заявила нам, что выходит замуж и скоро навсегда оставляет институт.

Глава III

Инспектриса, ее характер и значение

Как легко было классной даме оклеветать воспитанницу. – Последствия институтской конфузливости. – Посещение лазарета императором Александром II

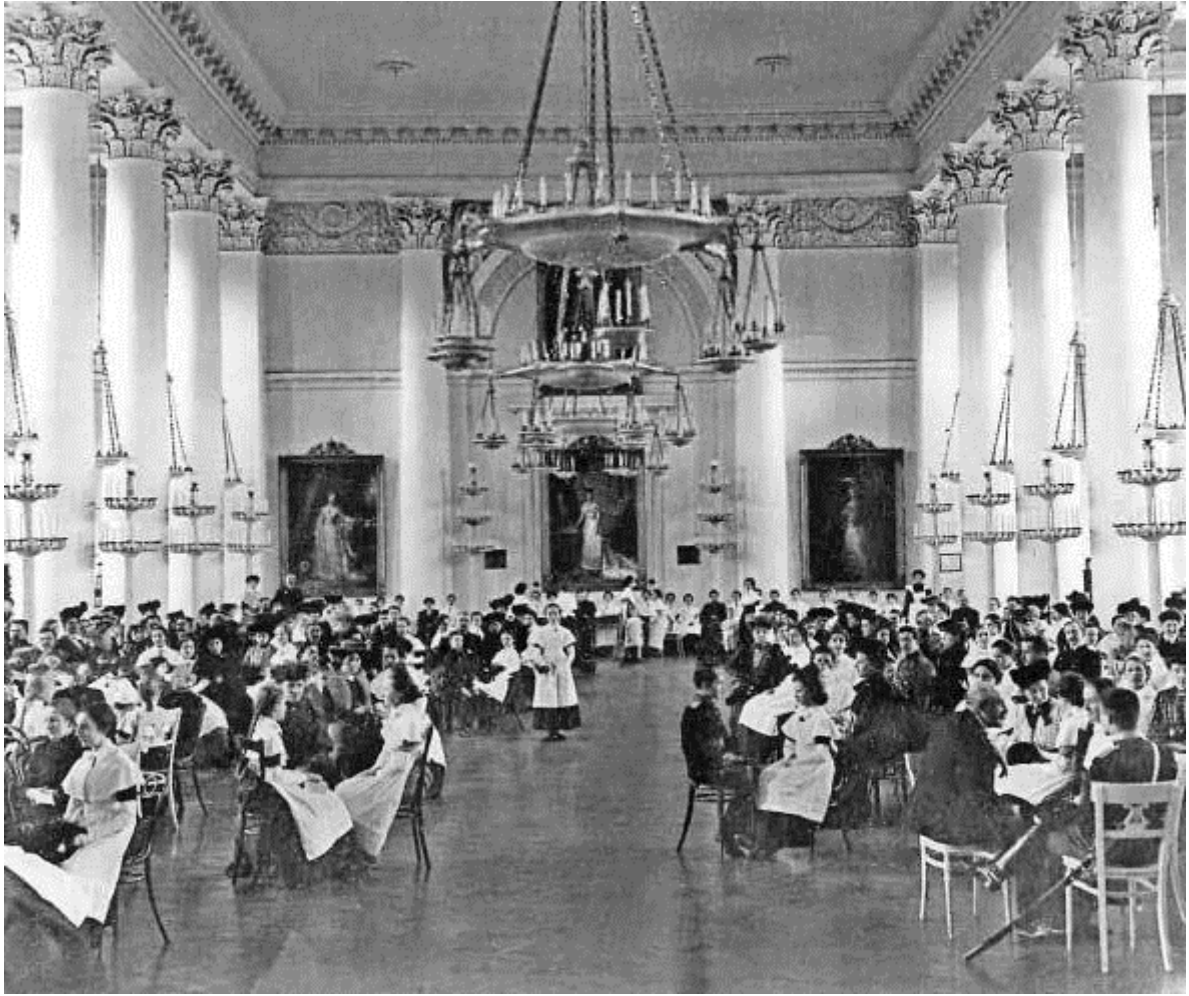
Кто был непосредственно начальницею Александровской половины Смольного? Кто управлял штатом служащих, начиная от классных дам и кончая горничными? Начальница Леонтьева была верховною главою двух институтов, но если бы она даже захотела, то не имела бы возможности вникать во все, что делалось в Александровском институте, тем более что она жила на Николаевской половине. Наша инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «тапан», по официальному своему положению была нашею прямою начальницею. Но Леонтьева была слишком властолюбива, чтобы выпустить что-нибудь из своих рук. Этому содействовала и полная бесхарактерность m-me Сент-Илер, оказавшейся марионеткою в руках начальницы. Леонтьева не довольствовалась тем, что давала тон и направление двум институтам и стояла на страже консервативных начал, но требовала, чтобы наша инспектриса докладывала ей о всякой мелочи, о шалостях и грубости воспитанниц, об интригах классных дам, о каждом мало-мальски выходящем из общего уровня происшествии, о сомнительном, по ее понятиям, слове учителя, – решительно обо всем. При малейшем желании инспектрисы уклониться от навязанной ей роли старейшая из наших классных дам, Тюфяева, без церемонии угрожала ей тем, что она сейчас же обо всем донесет начальнице, и, не давая той опомниться, быстро приводила в исполнение свою угрозу. Но и при своем подчиненном положении инспектриса могла бы все-таки настоять на том, чтобы, например, экононом сокращал свои алчные аппетиты и не так быстро наживался на счет здоровья воспитанниц, могла бы она требовать и смены классной дамы, зарекомендовавшей себя возмутительным обращением с детьми. Одним словом, если бы она не могла сделаться вполне самостоятельною, на что ей давало право ее положение, но для чего нужно было обладать мужественным характером, все же она могла бы быть чем-нибудь полезною воспитанницам. Но m-me Сент-Илер ни в каком отношении не умела себя поставить как следует и приносила воспитанницам скорее вред, чем пользу. Этому не поверил бы тот, кто имел возможность лично узнать ее (но не в качестве инспектрисы), – такое производила она на всех чарующее впечатление. Умная и для своего времени весьма образованная, по натуре гуманная, миролюбивая, добрая, деликатная, даже сердечная и любящая детей, она сохранила и под старость какое-то элегантно изящество, следы поразительной красоты и представительности. Но как инспектриса она не умела дать отпора никому, не могла никого защитить и была в подчинении у своих же подчиненных, даже как-то боялась их всех. Это происходило не оттого только, что она лишена была твердой воли, но, видимо, и оттого, что она боялась потерять место инспектрисы, дававшее ей возможность существовать, содержать и воспитывать своих детей, которых она боготворила. Болезненной, вечно страдающей жестокими мигренями, ей также, видимо, сильно хотелось тихо, покойно, без дразг и историй доживать остаток своих дней.

M-me Сент-Илер была вполне осведомлена относительно всего, что у нас творилось. Иначе и быть не могло: она посещала классы и дортуары по нескольку раз в день, ежедневно

встречалась с классными дамами, вечно враждовавшими между собой и доносившими ей друг на друга, а еще чаще на воспитанниц, и таким образом имела полное представление об их нравственном и умственном убожестве, но у нее не хватало мужества решительно запретить классной даме делать то или другое, указать кому-нибудь из них на ее поведение, предосудительное для воспитательницы. То одна, то другая из них прибегала к ней с жалобой на одну из воспитанниц. М-те Сент-Илер не входила в разбор дела, не доискивалась того, кто из них прав, кто виноват. Она немедленно звала к себе обвиняемую и мягко журила ее в таком роде: «Это нехорошо, дитя мое... Это меня огорчает!.. Надеюсь, что это больше не повторится!» Она была слишком умна и не могла думать, что вся ее обязанность инспектрисы, вся ее педагогическая мудрость должны были ограничиваться лишь подобными внушениями. Таким образом, м-те Сент-Илер, несмотря на свою личную безусловную порядочность, мягкость и доброту, была особой с совершенно ничтожным характером. Вот потому-то грубость и произвол классных дам, особенно в младших классах, проявлялись при ней с такою жестокостью, как ни при какой другой инспектрисе.

Не было примера, чтобы самая отчаянная воспитанница когда-нибудь сказала «тапан» какую-нибудь дерзость. Да она никогда и не вызывала на это: со всеми нами она обращалась в высшей степени вежливо и деликатно, а дежурным (две воспитанницы старшего класса по очереди сидели в ее комнатах во внеурочное время для разных поручений, например позвать к ней ту или другую классную даму или передать что-нибудь от ее имени) она выказывала лишь ласку и внимание. Хотя она ни в одной области институтской жизни не приносила существенной пользы, но воспитанницы любили ее уже за одно то, что она представляла полную противоположность классным дамам; к тому же, будучи умственно неразвитыми, мы, особенно в младшем классе, как-то мало думали и разговаривали о том, кто виноват в нашем тяжелом положении.

Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера. Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали по парам вокруг зала, где сидели те из них, к которым уже пришли родные. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пробегали дежурные воспитанницы.



Воспитанницы на встрече с родственниками

В первые годы моей институтской жизни меня посещал мой дядя^[15] со своею женою – единственные родственники, которые были у меня тогда в Петербурге. Эти посещения приводили меня в восторг. Материальное положение моей матери было крайне тяжелое в это время: четыре-пять рублей в год, которые она высылала мне, все без остатка уходило на удовлетворение главных моих потребностей, но их далеко не хватало даже на это, а о том, чтобы затратить хотя несколько копеек на увеличение моего скудного пищевого пайка, я не смела и думать. Но меня еще более угнетала мысль, что моя бедность заметна для всех, – что на меня с презрением смотрят за это классные дамы. Даже в самую откровенную минуту с наиболее любимыми подругами я никогда ни единым словом не проговорила о тяжелом материальном положении моей семьи. Посещение меня богатыми родственниками сильно помогало мне сбивать с толку окружающих насчет моего материального положения, но, конечно, потому только, что классные дамы и подруги судили о достатках людей по внешности, не имея представления об их взаимных отношениях. Мой дядя, важный генерал, грудь которого была украшена бриллиантовой звездой и орденами, и его жена, в модном туалете, приезжали ко мне в блестящей карете, с лакеем на запятках, который в то время, когда они сидели у меня, стоял в нашей передней, нагруженный их верхним платьем. О, все это так импонировало в институте, производило такой фурор, что классные дамы не решались с улыбкой сожаления или презрения, как они это делали относительно некоторых моих подруг, высказывать мне замечания насчет моего дяди, а между тем он своим поведением то и дело нарушал институтские правила. Наши родственники в приемной должны были разговаривать с нами тихо или вполголоса, мой же дядя, будучи человеком в

высшей степени экспансивным и смешливым, не только громко разговаривал со мной, но от времени до времени его неудержимый смех гулко прокатывался по всей зале.

– А это кто же такой? Да ведь это настоящая жаба! – вдруг вскрикивал он.

Я наклонялась к дядюшке и начинала объяснять ему, что это классная дама, что если это дойдет до ее ушей, мне сильно достанется от начальства.

– Начальство? Это твое начальство? – И дядюшка сейчас же менял тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем: – Смотри у меня, Элизэ!.. Начальство – уважать прежде всего! Чтобы никто о тебе дурного слова мне не сказал.

Однако это не мешало моему легкомысленному дядюшке сейчас же делать вслух новое, еще менее лестное замечание о какой-нибудь другой классной даме. Зато неизменно восторгался он внешностью нашей представительной, красивой инспектрисы и однажды, не будучи в силах совладать со своими чувствами, подошел к ней и с величайшей галантностью выразил ей свое глубочайшее уважение. Как бы то ни было, но в то время когда другим воспитанницам после посещения родственников классные дамы зачастую делали замечания, вроде следующих: «Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко; потрудитесь передать ему, что это крайне неприлично!..» – мне никто никогда ничего подобного не говорил.

Посещения дяди доставляли мне удовольствие не только потому, что он являлся ко мне в блеске военного величия и богатства, и не потому, что он приносил мне безделушки, вроде красивых альбомов, шкатулочек, дорогие конфеты, но и потому, что, будучи добрым человеком^[16] и прекрасным родственником, он был ко мне очень нежен, и я чувствовала всю искренность его привязанности. К тому же в то время, когда мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются «институтскими историями», дядя подстрекал меня рассказывать их, и в такие минуты то и дело раздавался его раскатистый смех.

Когда шел второй год после того, как я перешла в старший класс, дядя как-то письменно известил меня о том, что мой младший брат, окончив курс в провинциальном корпусе, переведен в петербургский дворянский полк, что теперь он будет часто посещать меня и в первый воскресный прием явится ко мне вместе с ним.

В тот день, когда я, ожидая родственников, вошла в залу, дядя уже направлялся ко мне, а сзади него следовал молодой человек, – я поняла, что это был мой младший брат, Заря. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала его, хотя долго не видала, и к моему сердцу, окаменевшему в атмосфере казенщины, вдруг, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови, и я, забыв институтский этикет, со слезами бросилась в его объятия.

– Ты знаешь, – обратился дядя к брату, когда мы несколько успокоились после первых минут свидания, – они ведь здесь обожаниями занимаются... обожают даже сторожей, ламповщиков...

Превратившись в настоящую институтку, я с институтским гонором и с институтскими понятиями о чести энергично отрицала это обвинение, с наивною гордостью выставляя на вид, что у нас никто еще никогда не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.

– Да это бесподобно! – хохотал дядя. – Чем же выражается у вас это обожание?

Я начала рассказывать о том, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами, и при этом указала, что воспитанница, сидевшая в ту минуту близко от нас, обожает учителя рисования, что у него под носом пятно от табака, что он нюхает его, как только выходит из класса, а на лбу у него громадная грязная бородавка.

– Как, вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?

Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что кроме таких учителей у нас и нет почти других.

– Ну, а священнику как вы выражаете свое обожание?

– Адоратрисы в первый день Пасхи вместо яиц дарят ему красиво вышитые шелками мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним... – При этом я сообщила, что одна воспитанница призналась священнику на исповеди, что она обожает его, как бога. Он рассердился на нее, сказал, что она превращает исповедь в забаву, и объявил, что лишает ее причастия. Она испугалась, что это узнают классные дамы, умоляла его простить ее и не выходила из исповедальни до тех пор, пока не выпросила у него прощения.

– Как это все нелепо, глупо и пошло! – вдруг произнес мой брат. Дядя очень рассердился на него за эту ненужную с его стороны серьезность и просил его оставить в неприкосновенности мою наивность. Чтобы дискредитировать брата в моих глазах, дядя, хотя и шутливо, сообщил мне, что мой младший брат Заря и в подметки не годится старшему, Андриюше, который оказывается настоящим бравым офицером, лихим служакою, дамским кавалером, чудесным танцором, а потому, наверно, сделает блестящую военную карьеру. Что же касается брата Зари, то, по словам дяди, он напрасно и числится-то военным, так как день и ночь корпит над книгами. Он тут же начал советовать ему перейти в военную академию, просил не навязывать мне книг, не «развивать меня», как это делают теперь многие молодые люди, и говорил, что это совсем не нужно девушке, что ее прозовут за это «синим чулком».

Я успокоила дядю, говоря, что не люблю читать, что наше начальство совсем не обращает внимания на наше учение, что оно следит только за нашим поведением.

– Хвалю ваше начальство! Очень хвалю! Действительно, девушке нужна только нравственность...



Вид Смольного института. Художник – К. Беггров

Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, он заметил, что для дочерей дяди, как для богатых девушек, может быть, и ничего не нужно более, как только заботиться о своей нравственности, но что мне, бедной девушке, очень даже не вредно подумывать о том, чтобы запастись знаниями.

Эти рассуждения брата мне напомнили внушения матери о бедности, которые она так часто любила делать нам, своим детям, о чем я в институте старалась забыть и уже почти достигла этого. И вдруг брат, который навестил меня в первый раз после долгой разлуки, напоминает мне об этом! Замечания брата как-то сразу охладили мое теплое, родственное чувство к нему, явившееся у меня при встрече с ним в первую минуту. На его вопрос, что мы проходим у преподавателя словесности, я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он пришел к правильному заключению, что я не читала ни одного произведения наших классиков.

– Какой у вас дурацкий учитель литературы! Вы, видимо, и выучились здесь только обожанию!

Хотя я тяжело страдала от уклада институтской жизни и от всего его режима, но миазмы стоячего институтского болота уже достаточно пропитали мой организм, и я считала низостью спустить брату его оскорбительное замечание об институте, которым я гордилась, несмотря ни на что, и об учителе, которого мы считали гениальным, а потому высокомерно возразила ему:

– Должно быть, не все такого мнения, как ты, о нашем институте, так как он всюду считается первоклассным в России!.. А наш преподаватель словесности и литературы Старов^[17] – знаменитый поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры, как наши классные дамы.

– Такого знаменитого поэта в России нет, и классные дамы преклоняются перед ним только потому, что они дуры...

Это было уже слишком, и я вскочила, чтобы убежать от него, не простившись. Но брат вовремя схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил меня извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна заниматься чтением, что он будет носить мне книги. Я наотрез отказалась от этого предложения, говоря, что у нас столько переписки, столько обязательных занятий, что у меня нет свободной минуты. И, видя, что я все порываюсь уйти, брат переменял тему разговора. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к моему выпуску, как она давно копит для этого деньги, откладывая по несколько рублей в месяц.

– Такие жертвы! Зачем? – вдруг вырвалось у меня помимо воли.

– Как зачем? – с изумлением воскликнул брат. – Ты даже после долгой разлуки не желаешь увидеть родную мать?

– Конечно, я желаю видеть маменьку... Но если это так трудно для нее?.. Вероятно, дядя согласится взять меня к себе... Пожалуйста, уговори ее не приезжать ко мне... Право же, это вовсе не нужно... Уверю тебя, что я устроюсь...

Мой брат заподозрил, что я имею какие-нибудь веские причины отказываться от приезда матушки, начал ловко выпрашивать меня, и я откровенно высказалась по этому поводу. Я напомнила ему о том, что матушка не только не стыдилась бедности, но чуть не хвасталась ею... Здесь же на это иначе смотрят. Что же делать!.. Не все могут быть одинакового убеждения, не все находят, что бедность – такое счастье, которым можно хвастаться! Если матушка приедет брать меня из института, она, наверно, явится сюда в тех же платьях, которые у нее были пошиты еще тогда, когда она привозила меня. А ведь с тех пор моды совсем изменились!..

«Как ты думаешь, – обратилась я к брату, – очень мне приятно будет, когда ее станут высмеивать здесь за ее туалеты?»»

– Довольно! – вдруг произнес брат с страшным гневом, резко отодвигая свой стул. – Так вот чему тебя здесь научили! – Он весь побагровел и вышел, не простившись со мною.

Я не только не понимала всей глубины пошлости, сказанной мною, но и не умела хорошенько разобраться даже в том, за что на меня так рассердился мой брат; тем не менее с каждым днем я все более и более страдала от разрыва с ним. Всю вину за эту ссору я сваливала на него. «Как это дико, – думала я, – он требует, чтобы все в институте придерживались такого же мнения, как наша матушка». Я нашла, что мои подруги были вполне справедливы, когда утверждали, что родственники и все живущие вне института никогда не смогут вполне понять институтку. Но это открытие не доставило мне ни малейшего утешения, и сердце мучительно ныло при мысли, что самый близкий мне человек в Петербурге, мой родной брат, не будет более навещать меня.

Мое мрачное настроение усиливалось еще вследствие письма, полученного мною от любимой сестры Саши через брата в первое свидание с ним. Хотя воспитанницы и их родственники обязаны были переписываться не иначе, как через классных дам, которые должны были перечитывать все отправляемые и получаемые ими письма, но громадное большинство пользовалось всяким случаем сообщаться между собою без всякого контроля.

До посещения меня моим братом я все реже и реже вспоминала о своем доме и о своих близких, но после ссоры с ним каждый раз, ложась в постель, я не могла отделаться от воспоминаний о прошлом. Мне приходили на память давно забытые, печальные события моего злосчастного детства или вырисовывалась то одна, то другая картина моего жалкого существования в институте: наказания классных дам с их воркотнёю и грубою бранью, мои жестокие обязанности в качестве «отчаянной», муки раннего вставания, голода и холода. Память цеплялась за все самое мрачное в моей жизни, выдвигала лишь печальное. С невыразимую тоскою и с обидою на судьбу я все сильнее начала чувствовать весь ужас своего одиночества, всю свою заброшенность, полную оторванность от всего близкого и родного. И, уткнувшись ночью в подушку, чтобы не разбудить подруг, я рыдала, рыдала без конца. «Что из того, – думала я, – что у меня много подруг: я не могу ни с кем из них говорить о своих домашних делах!» Боязнь, что кто-нибудь узнает о бедности моей семьи, мешала мне быть откровенной с кем-нибудь из них.

Еще хуже обстояло дело по отношению к близким родным: я уже давно перестала отвечать на письма сестры Саши, а матери хотя и писала, но по казенному образцу. Матушка особенно строго следила за тем, чтобы я извещала ее о получении денег, которые она посылала мне от четырех до пяти рублей в год. Такая сумма не могла удовлетворить мои насущные потребности, и это усиливало мое раздражение против нее. Я не умела беспристрастно обсудить свое положение, не была настолько умственно и нравственно развитою, чтобы критически отнестись к своему неблагоприятному поведению относительно матери, и не видела необходимости заставить себя изменить свое отношение к ней. Я не только писала ей «казенные письма», но преподносила ей, как мне, вероятно, казалось тогда, чуть не настоящие отравленные стрелы, но что, в сущности, было просто грубостию и пошлостию. Я пересылала письма не через классных дам, а по почте, через родственниц моих подруг. Вот одно из них:

«Считаю своею обязанностью известить Вас, милая маменька, что я приобщилась св. тайн, а потому простила всех-всех моих врагов. Я буду просить Вас, милая маменька, не беспокоить себя присылкою мне 4–5 рублей в год: их не всегда хватает на покупку помады, мыла, гребенок, щеток, а тем более ботинок, чтобы заменить ими казенные, которые падают с ног во время уроков танцев. Не могу из денег, которые Вы мне посылаете, купить себе и перчатки для балов. На балы эти хожу не потому, что их обожаю, а потому, что требует начальство, а над старыми, разорванными перчатками, которые я беру у подруг, когда они их

бросают, все издеваются. На 4–5 рублей, которые Вы мне посылаете, милая маменька, я не могу заказать себе и корсета, который стоит здесь 6–8 рублей, а хожу в казенном, от которого у меня остаются ссадины и раны. Чтобы иметь еще хотя несколько рублей кроме тех, которые вы мне посылаете, я за плату беру шить у подруг передники и пелеринки. Воспитанницы, которых матери любят, посылают деньги дочерям не только на все, что здесь необходимо, но и на шитье всего, что мы тут обязаны себе пошить, такие воспитанницы все свое шитье отдают за плату горничным. Хотя мне очень стыдно быть вроде горничной, но я беру эту работу, и мне, как горничной, подруги платят за эту работу. Вы видите, милая маменька, что на Ваши 4 и даже 5 рублей я ничего не могу сделать, что мне здесь нужно, а потому, пожалуйста, не присылайте мне ни этих Ваших 4, ни даже 5 рублей».



Быт институток. Художник – М. Петров. 1872 г.

Одно из подобных писем заканчивалось еще такой «адской иронией»: «Всех своих добрых, чудных, милых наставниц, то есть классных дам, я люблю от всего моего сердца и очень их уважаю, а одну из них, m-lle Тюфяеву, с которою Вы лично познакомились, когда отдавали меня в институт, я просто обожаю. В последние четыре месяца никто из родственников меня не навещал, но Вы не беспокойтесь, милая маменька, – я в этом совсем не нуждаюсь: мне очень здесь весело, чрезвычайно хорошо, я совершенно здорова, чего и Вам желаю».

Ни упреков, ни негодования от матушки за эти письма, чего я так жаждала в тайниках моей души, я не находила в ее ответах, а деньги она по-прежнему высылала в том же объеме.

Вот письмо сестры Саши, которое не только взволновало меня, но и повергло в самое тяжелое душевное настроение и в первый раз заставило подумать кой о чем, хотя ненадолго... Оно начиналось без обычного обращения:

«Только что перечитала твои письма к мамашечке. Очень благодарю тебя, что ты не отвечала ни на одно из моих писем. Если ты не желаешь или не умеешь писать по-человечески, я предпочитаю твое молчание. Твои письма, в которых нет ни чувства, ни правильной мысли, ни любви, ни даже простого сострадания и почтения к родной матери, – просто ужасны. Как, почему ты уже в 14 л. успела сделаться таким нравственным уродом? Твоя деревянность, пошлая язвительность и непристойная грубость относительно матери меня возмутили до глубины души и привели в отчаяние и ужас. И что это за выражения: “Я здорова, чего и Вам желаю”? Так пишут только солдаты! Хотелось бы мне знать, кто твои враги, которых ты прощаешь столь великодушно? Как ты не краснеешь от стыда, выставляя матери на вид и подчеркивая, что она посылает тебе только 4–5 р., что ты вынуждена шить за плату передники? Каждому, у кого нет средств, приходится работать. Матушка в этом отношении первая подает пример своим детям. Ты пытаешься сказать, что тебе деньги нужны лишь на самое существенное, а она со смерти отца очень часто отказывает себе и в существенном. Опомнись, брось свой деревянный и пошло-язвительный тон, солдатчину и казенщину и пиши матери так, как она этого заслуживает своею неутомимою деятельностью на пользу своих детей.

Родная моя девочка, дорогая моему сердцу сестренка! Заклинаю тебя всем, что еще осталось для тебя дорогого – памятью покойной нашей милой няни, твоею прошлою нежною привязанностью ко мне, воспоминание о которой до сих пор вызывает у меня слезы, – возьми себя в руки, постарайся расшевелить свой мозг, отогреть свое окоченевшее сердце добрыми воспоминаниями о близких тебе, проснись, моя дорогая, скажи мне откровенно, за что ты разлюбила меня, за что ты так безжалостно порвала со мною все отношения, что тебя так перевернуло в институте, отчего ты сделалась такою холодною, просто даже каменною, если судить по твоим письмам? Хотелось бы мне знать и то, как идут твои занятия, какими предметами ты особенно увлекаешься, какое чтение наиболее доставляет тебе удовольствия, о чем ты мечтаешь, что ты стремишься делать по окончании курса? Может быть, я задала тебе сразу слишком много вопросов, а между тем у меня остается все еще и еще, о чем бы хотелось тебя расспросить. Как ты прежде откровенно, чистосердечно болтала со мной обо всем, так и теперь без утайки, если только не разлюбила меня, расскажи о своем положении в институте, отвечай, как умеешь, на мои вопросы: будем думать сообща, как ослабить то тяжелое и горькое, что особенно тебя волнует».

Это письмо обожгло мое сердце и совершенно выбило из колеи. Прежде чем отправить ответ, я разорвала несколько писем к сестре и в первый раз почувствовала, что совсем не умею выражать своих мыслей, что они у меня какие-то спутанные, коротенькие, отрывочные.

«Обожаемая Шурочка!

Обиднее всего для меня то, что ты считаешь меня нравственным уродом! Неужели ты думаешь, что я могла тебя разлюбить? Не писала тебе потому, что хотела написать все как есть, но не умею выражаться. Сама не знаю, что со мною происходит... Лучше расскажу тебе сказку, которую я про себя придумала, тогда, может быть, ты скорее поймешь, что со мною.

Помнишь ли ты, дорогая Шурочка, когда ты бежала от Лунковских? – Когда мы легли с тобою спать, ты вдруг начала плакать, а я все приставала к тебе с расспросами, почему ты плачешь. Ты рассказала мне сказку: когда ты родилась, говорила ты, к твоей колыбели подошла фея, и так как она в тот день раздала новорожденным все свои лучшие дары – богатство, красоту, счастье, и у нее остались только слезы, то она и подарила их тебе. И к моей колыбели подошла фея, но не прекрасная красавица, а злая-презлая, и во все горло крикнула мне: “А ты будешь особой шиворот-навыворот!..” Предсказание злой феи сбылось: у меня решительно все выходит шиворот-навыворот. Ты говоришь: “Расшевели свой мозг, отогрей свое окоченевшее сердце”, но если я постараюсь это сделать, у меня все выйдет наоборот. Как перед богом, говорю тебе правду: хочу сделать одно, а делаю другое. Разве я

желала тебя и маменьку обманывать, когда обещала вам хорошо учиться и вести себя, а вышло наоборот.

Ты называешь меня “нравственным уродом”, но я не злюсь на тебя, – я это заслужила. Хотя твои слова страшно обидны для меня, но я по-прежнему боготворю тебя, всегда помню, что ты была для меня настоящей родною матерью. Однако, несмотря на то, что я тебя обожаю и преклоняюсь перед тобой как перед божеством, я прошу тебя – не пиши мне писем. Один бог знает, как от этой моей просьбы у меня разрывается сердце, понимаю я и то, что это невежливо, даже гадко с моей стороны, а все-таки прошу – не пиши. Без твоего письма мне как-то покойнее жилось, а теперь не знаю, куда деться, минутами сердце стучит, как молоток, в груди. Вот уже первый шиворот-навыворот: хочу, чтобы ты писала, люблю тебя, и – прошу не писать.

Из всего, что я расскажу тебе, ты увидишь, что все у меня выходит шиворот-навыворот. Обещала хорошо учиться, а в кофейном классе так училась, что учителя перестали вызывать, а теперь, в старшем классе, – только немногим выше середины стою, да и то вывозят сочинения. Ты скажешь; что у меня память дурная, а я отвечу: “Не хуже, чем у других”. Ты подумаешь, что я плохо понимаю, но ведь если бы я была тупицей, учитель литературы и француз не ставили бы мне за сочинения двенадцатибалльную отметку, да еще иногда с крестом. Нет, уж у меня все шиворот-навыворот выходит. Не умею объяснить, что со мною происходит, а сочинения могу писать, да еще делаю их не только для себя, но и для всех последущек: так называют у нас последних в классе. Значит, не тупица я и не лентяйка... Но перед тобой, мой обожаемый Шурок, я должна откровенно все говорить, – так вот очень часто действительно можно сказать, что я настоящая тупица и что не учителя виноваты в том, что у меня какая-то пустота в голове. Наш учитель литературы Старов – гениальный человек и дивный поэт: мы очень серьезно изучаем у него литературу. Читает он нам много отрывков из различных произведений... И если бы ты знала, как он божественно читает! Черты его лица тогда становятся вдохновенными, поэтичными! Он так увлекательно говорит о красоте, об идеале! Я слушаю его так внимательно, что боюсь проронить хотя одно его слово, всегда выучиваю заданные им уроки, почти всегда отвечаю у него на 12. Но вот он как-то попросил меня изложить урок своими словами, – напутала, прямо вышла у меня какая-то галиматья, вообще как-то у меня ничего не остается в голове от лекций даже такого гениального преподавателя, как Старов. Иногда мне кажется, что все это происходит со мною из-за того, что меня вечно терзают голод и холод. Прости, что такому идеальному существу, как ты, я говорю о таком низменном, но что же мне делать, если голод и холод перед тем как ложиться спать просто разрывают мне все внутренности... Но, может быть, все это и не от этого? Тяжело, тяжело, сама не знаю отчего!

А в поведении моем настоящий хаос: тут уж мой *шиворот-навыворот* выступает во всем блеске! Моя дортуарная дама Верховская еще в кофейном классе в такой день, когда она на всех была ужасно зла, вдруг несправедливо набросилась на меня, избилась меня, унизила до последней степени, истерзала своею злостью всю мою душу, и я за это перед образом и перед всеми воспитанницами поклялась сделаться “отчаянной”. И до сих пор держу свою клятву: всем классным дамам говорю правду в глаза, а также дерзости, беру на себя опасные поручения. За это я на очень дурном счету у начальства, все классные дамы в голос кричат, что меня мало вышвырнуть из института. Ты понимаешь, Шурочка, что не могу же я перестать быть отчаянной, ведь я перед образом клялась, да и подруги заподозрят, что я хочу подлизываться к начальству... А если бы ты знала, как мне тяжело быть отчаянной, как я это ненавижу, но я это скрываю от подруг. Значит, уж моя судьба быть шиворот-навыворот! Шурочка, как тяжело, тяжело!

Ты спрашиваешь, о чем я мечтаю? Только о том, чтобы ты хотя на один день, хотя на один час приехала ко мне. Я бы положила на твои колени свою голову, ты бы гладила мои волосы, а я плакала бы, плакала так, что мне сразу стало бы легче.

Шурок, боготворимая, обожаемая сестра! Не прими за грубость, но прошу тебя, если ты не можешь посетить меня, не пиши мне больше: твои письма терзают меня, разрывают мне душу! Я гадкая, сама сознаю это, но на коленях умоляю тебя: прости меня, люби меня хотя немножко».

Когда через несколько недель после ссоры с братом Зарею мне сказали, что он пришел ко мне, я так обрадовалась, что в первую минуту не могла даже говорить с ним. Он не вспоминал о нашей размолвке, и на этот раз наше свидание прошло совершенно миролюбиво. Брат начал посещать меня почти каждую неделю. Я все более привязывалась к нему. Правда, от времени до времени меня бесили его насмешки над моими институтскими выражениями и взглядами, и у нас выходили маленькие стычки, но наши свидания никогда более не кончались формальной ссорой. Благодаря ему я менее сиротливо чувствовала себя в институте, и тяжелое настроение, особенно давившее меня одно время, несколько улеглось.



Свидание с братом. Иллюстрация к книге Елизаветы Водовозовой. Художник – Е. Самокиш-Судковская

Однажды он заявил мне, что следующие две-три недели будет сильно занят и не может приходить ко мне. И вдруг, несмотря на это, в первое же воскресенье, когда уже оставалось не более получаса до окончания приема, воспитанницы закричали, что ко мне пришли.

Сбежав с лестницы, я только что собиралась войти в залу, когда m-lle Тюфяева загородила мне дорогу.

– Кто пришел к тебе? – спросила она.

– Вероятно, дядя или брат, который ходил ко мне всю зиму.

– А еще ты никого не ждешь?

– Никого, – отвечала я и бросилась вперед, не замечая, что и она идет сзади по моим следам. Да это и трудно было заметить за массой публики у входа в залу, из которой уже многие выходили, простившись с своими родственницами. Не успела я сделать и нескольких шагов, как увидела своего младшего брата.

– Рекомендую тебе моего большого приятеля, – сказал он мне, указывая глазами на стоявшего подле него красивого, стройного офицера.

Я отвесила ему реверанс.

– Этот молодой человек, – продолжал брат, – давно стремится познакомиться с тобою...

Ответом на это с моей стороны был опять реверанс.

– Я много слышал о строгих нравах вашего института, – заговорил офицер, – но мне так хотелось познакомиться с сестрой моего лучшего друга, и я под его покровительством решился проникнуть в ваш строгий монастырь.

Я опять отвесила ему чинный реверанс.

– Боже мой, сестренка, неужели ты не узнаешь меня, твоего старшего брата? Неужели я так изменился?

Мистификация кончилась, мы наконец расцеловались и уселись по местам.

Мой старший брат, совершенно неожиданно даже для себя, только утром в этот день приехал в Петербург, остановился у дяди, который дал свой экипаж, чтобы мои братья навестили меня. Они не могли пробыть у меня долго, так как должны были возвратить экипаж дяде, который ехал куда-то по спешному делу, а потому нам удалось очень мало посидеть вместе.

Как только после свидания с братьями я успела подняться в свой дортуар, передо мной выросла m-lle Тюфяева и, грозно указывая на меня трагическим жестом, закричала во все горло:

– Я всем вам строго запрещаю приближаться и разговаривать с этою грязною тварью! Она опозорила наше честное заведение!

– Как, я? – не понимая, в чем дело, пораженная ужасом и изумлением, спрашивала я только потому, что Тюфяева прямо указывала на меня.

– Ах ты, фокусница! Нет, сударыня моя, ты прекрасно знаешь, что ты настоящая чума института! Но теперь, слава богу, от тебя уже избавятся навсегда... – И, снова обращаясь к воспитанницам, она продолжала: – Она сама, понимаете, сама сказала мне (при этом ладонью руки она ударяла себя в грудь), что ждет своего дядю или брата, которых мы знаем. Я собственными ушами слышала (она подняла обе руки к ушам), как ее брат, указывая на приведенного им офицера, рекомендовал его как своего товарища, как этот офицер говорил ей, что он боялся проникнуть в наш строгий институт и решился на это только при благосклонном покровительстве ее брата. А эта дрянь действительно сначала отвечивала ему только реверансы, а потом нашла это лишним и бросилась в его объятия... Сама видела, как они целовались враскоряку, как они несколько раз принимались целоваться!.. И все это на моих глазах!.. Я, не отходя, наблюдала их! Почти все время стояла в нескольких шагах от них.

– Это ложь! Подлая ложь! Вначале я действительно не узнала старшего брата... Я не видала его более пяти лет... А когда узнала...

– Молчать, сволочь, паршивая овца, чума, зараза! – И она, как из рога изобилия, продолжала осыпать меня французскими и русскими ругательными словами, а от времени до времени подскакивала ко мне, топала на меня ногами и кричала:

– Я сейчас же доложу обо всем инспектрисе!.. – и быстро вышла из дортуара.

В это время мы были уже в старшем классе, и никто из моих подруг не придал значения тому, что она только что запретила разговаривать со мной. Напротив, все окружили меня и начали обсуждать «событие». Ни одна воспитанница не усомнилась в том, что Тюфяева оклеветала меня: поцеловать чужого мужчину, да еще при официальной обстановке, а тем более в приемные часы, было просто немыслимо для кого бы то ни было. Как я, так и мои подруги были одинаково убеждены, что доносу Тюфяевой начальство хотя и не поверит, но очень обрадуется, как удобному предлогу вышвырнуть меня из института за мою «отчаянность».

– Несчастная! Как ты решилась на такой ужас? – вскричала инспектриса, входя в дортуар в сопровождении Тюфяевой.

– Это ложь, маман! Клянусь богом, это клевета! Mademoiselle Тюфяева давно искала случая меня погубить! – рыдала я.

– Как ты осмеливаешься говорить это про твою почтенную наставницу?

В ту же минуту некоторые из моих подруг окружили m-me Сент-Илер и повторяли ей на все лады:

– Маман! Маман! Это был ее брат! Она его не узнала в первую минуту...

– Молчать! – дала окрик Тюфяева. – Видите ли, madame, – говорила она, обращаясь к инспектрисе и указывая на меня, – какое безнравственное влияние имеет она на свой дортуар! Они перебивают даже вас.

Но тут колокол позвонил к обеду. Это, вероятно, несколько облегчило неприятное положение нашей бесхарактерной маман. Уходя, она обернулась ко мне и произнесла:

– Когда ты обдумаешь свой ужасающий поступок и признаешь, как все это было ужасно с твоей стороны, ты можешь прийти ко мне сознаться в этом, иначе я не хочу и разговаривать с тобой...

– Но я клянусь всем святым, маман, что это был мой родной брат! Я не могу сознаться в том, чего я не делала, – говорила я, обливаясь слезами.

– А я перед образом клянусь вам, madame, – и Тюфяева повернулась в угол, где висел образ, – что все, что я сказала вам, истинная правда: все это я видела собственными глазами, слышала собственными ушами. Увижу, madame, кому вы поверите: мне ли, беспорочно прослужившей здесь более тридцати шести лет, или этой грязной девчонке, родной брат которой приводит к ней...

– О, mademoiselle Тюфяева! – торопилась перебить ее совершенно растерянная m-me Сент-Илер, хватая себя за голову и поспешно направляясь к себе.

Воспитанницы строились в пары. Когда я подошла к подруге, с которой должна была ходить в паре, Тюфяева подскочила ко мне и рванула меня за руку прочь от нее:

– Никогда не посмеешь больше ходить с другими! Всегда одна... и сзади всех... как настоящая зараза!

– Иуда! Клеветница! Клятвопреступница! Не смей до меня дотрагиваться! – кричала я в испуге, не помня себя от раздражения.

– Все, все это будет доложено начальнице! – шипела Тюфяева.

– Даже и то, чего нет! – громко хохотала Ратманова. М-ше Тюфяева, желавшая изолировать меня от подруг, должно быть, вследствие раздражения, забыла поместить меня за отдельным столом или, по крайней мере, поставить меня между колонн, что считалось для воспитанниц старшего класса одним из наиболее тяжелых наказаний, и я сидела на своем обычном месте. «Какой удар нанесет моей матери и сестре мое удаление из института! Да... для меня все теперь потеряно, но я, по крайней мере, должна защищать свою честь до последней капли крови!» – решила я. Но вот соседка под столом нажимает мою ногу и подсовывает записку под мой ломоть хлеба, но так, чтобы мне видно было написанное. Я читаю: «Тебя все равно на днях выгонят отсюда, пожалуйста, очень тебя просим, надерзи, по крайней мере, так, чтобы стены трещали». Меня это бесит. Я злобно толкаю руку, которая протягивает мне уже новую записку. «Эгоистки! Вместо того чтобы пожалеть меня, невинно опозоренную на всю жизнь, они только думают о себе, мешают даже сообразить, что делать!»

Когда мы возвращались из столовой в класс (я одна позади всех) и проходили мимо узкого коридорчика, который вел в покои инспектрисы, Тюфяева пропустила всех перед собою и встала у самого входа в комнаты тамаг, точно желая преградить мне дорогу к ней. Этим она, сама того не подозревая, дала неожиданный толчок моей мысли. Когда я, усевшись на классную скамейку, начала вынимать из пюпитра книги, но не для того, чтобы учиться, а чтобы что-нибудь иметь перед собой, Тюфяева закричала мне: «Не утруждай себя учеьем!.. На днях, моя драгоценная, тебя выгонят отсюда с позором!.. В свидетельстве будет прописано, за какие дела тебя выгнали... Ну, а теперь – сюда! Передник долой и стоять у доски до чаю!» Я беспрекословно исполнила ее приказание. Вдруг среди гробовой тишины раздался голос Ратмановой: «Удивительно, как некоторые личности не могут достаточно утолить свою злобу!»



Воспитанницы Императорского воспитательного общества благородных девиц за обедом

Тюфяева не пожелала принять этого изречения на свой счет, проскрипела на французском и русском языках еще несколько ругательств по моему адресу и победоносно вышла из класса пить кофе, – это означало, что мы, по крайней мере, час, будем наслаждаться ее отсутствием. Я взяла мел и написала на классной доске: «Согласно вашему заявлению и благодаря вашей грязной клевете, я считаю себя уже уволенной из института, а потому и не нахожу нужным долее подвергать себя вашему тиранству».

– Молодец, молодец! – кричала Ратманова, бросаясь ко мне, схватила меня за талию и начала кружить в вальсе. Я вырвалась от нее, надела передник и побежала к инспектрисе.

– Мaman! – и я с воплем бросилась перед ней на колени. – Вы одна можете меня защитить! Умоляю, будьте мне родною матерью!

– Боже мой! Что же я могу сделать? Я просила mademoiselle Тюфяеву отложить эту историю хотя на несколько дней, подождать докладывать начальнице, но разве mademoiselle Тюфяева послушается кого-нибудь! Напротив, дитя мое, ты одна не только можешь помочь себе в этом деле, но и меня избавить от очень многих неприятностей... Если ты, при твоём строптивом нраве, бросишься на колени не передо мною, а перед mademoiselle Тюфяевой, будешь умолять ее простить тебя за все грубости и дерзости, которые ты ей делала, искренно пообещаешь ей исправиться, она тронется... Да, да, я уверена, она тронется твоим раскаянием...

Страшная душевная тревога, вызвавшая лихорадку, так что я минутами не могла попасть зуб на зуб, уже несколько часов удручала меня, а теперь еще новое предложение инспектрисы, столь унижительное, как мне казалось, для моего человеческого достоинства, возмутило меня до последней степени. Я как ужаленная вскочила с колен. Это новое оскорбление притянуло к моему сердцу всю кровь организма, всю горечь жестоких обид, весь огонь негодования моего вспыльчивого и неуравновешенного темперамента. Я совсем забыла об обязательном этикете относительно инспектрисы и о своем бесправном, рабском положении; к тому же, меня не оставляла мысль, что мне нечего более терять, и я бесстрашно начала говорить все, что приходило мне в голову.

– Мaman! Вы требуете, чтобы я просила прощения; но как просить прощения в том, в чем я не считаю себя виноватой? Вы советуете упасть на колени перед особой, которую презирают все воспитанницы без исключения, а я, кажется, еще больше других... Я скорее дам разрезать себя на куски, но этого не сделаю! Да и к чему? Вы говорите: «Проси прощения за грубости», – но ведь в данную минуту mademoiselle Тюфяева обвиняет меня не за них. Вы даже сами не можете произнести того, за что она меня обвиняет, следовательно, сами не верите в справедливость ее обвинения. Я знаю, меня вышвырнут отсюда... Mademoiselle Тюфяева повторяет мне это каждую минуту, но за такую клевету я отомщу всем, всем без исключения! Я даю клятву Богу, что отдам всю свою жизнь на то, чтобы отомстить всем, всем... Мой дядя всегда может иметь аудиенцию у государя... Я через него подам просьбу государю... И дядя расскажет ему, как здесь, вместо того чтобы защищать молодых девушек, на них взводят небылицы и выгоняют с позором! – Инспектриса вздрогнула при этих словах и подняла на меня глаза, но я не могла остановиться, не могла замолчать, – и здесь нет никого, кто бы защищал нас!.. Даже вы... вы, maman, которую все считают самую умную и образованную, самую добрую, даже вы не желаете меня защитить, хотя прекрасно знаете, что я ни в чем не виновата!

Спазмы давили мне горло от рыданий, я не могла более говорить, опять бросилась на колени перед нею, опять повторяла то же самое на разные лады. Инспектриса молчала – потому ли, что сознавала справедливость моих слов, или потому, что считала дерзостью все сказанное мною, – мои заплаканные глаза не могли видеть выражения ее лица, но ее дрожащие руки

вдруг опустились на мою голову, и я инстинктивно поняла, что она не считает дерзостью сказанное мною. Я припала к ее коленям и стала целовать ее руки со стоном: «О, maman, maman!» Наступило молчание, прерываемое только моим судорожным всхлипыванием. Наконец она проговорила, продолжая гладить мои волосы своими дрожащими руками:

– А ведь я до сих пор совсем не знала тебя! Горячка, горячка! Ах, дитя, твой пылкий нрав, доходящий до исступления, много горя, много слез готовит тебе в будущем! Я понимаю, почему тебя так ненавидят классные дамы, почему произошла эта история именно с тобою, а не с кем другим... – Она положительно не могла назвать того, что произошло, и сама, вероятно, не соображала, что, говоря таким образом, она этим самым подтверждает, что не верит взведенной на меня клевете. – Видит бог, что при всем желании я решительно ничего не могу тут сделать!

Вдруг у меня блеснула счастливая мысль написать дяде и просить его объяснить m-me Сент-Илер, кто у меня был сегодня на приеме. Я высказала ей это, и она, подумав, отвечала, точно обрадовавшись:

– Что же, напиши!.. Да... да, конечно, напиши... Может быть, это будет самым лучшим исходом для всех нас!.. Я отправлю твое письмо с горничною на извозчике, но, конечно, только в том случае, если ты сумеешь написать это без каких бы то ни было неделикатных выражений по отношению к mademoiselle Тюфяевой.

Мое письмо было кратко и объективно: я сообщала дяде о посещении меня братьями и объясняла ему, как и почему явилось подозрение у m-me Тюфяевой, что мой старший брат совершенно посторонний для меня человек. Я умоляла дядю выяснить это дело сегодня же, так как m-me Тюфяева заявила мне, что я за прием чужого офицера, которого, к тому же, поцеловала, буду немедленно уволена из института.

Когда я дописывала последние строки, в комнату вошла m-me Сент-Илер.

– Видишь ли, мое дитя, как ты наивна! Ты воображаешь меня такой всемогущей, а я даже не могла упрямить mademoiselle Тюфяеву, чтобы она подождала с этой историей хотя до завтра. Она уже отправилась к начальнице.

Хотя инспектриса внимательно прочитала мое письмо, но не сделала никаких возражений и моментально запечатала его, дала горничной на извозчика и приказала ей, не теряя ни минуты, отвезти его и вернуться обратно с ответом.

Несколько успокоенная, я отправилась в дортуар, где подруги рассказали мне, как Тюфяева, возвратившись в класс, заметила, что меня не было у доски, как она несколько раз прочитала мое послание к ней и объявила, что она сейчас же отправляется к начальнице доложить обо всем происшедшем.

Когда воспитанницы ушли в столовую пить чай, я опять направилась к инспектрисе. Наконец возвратилась и горничная. Когда она, по ее словам, подъехала к подъезду квартиры, занимаемой моим дядею, он сел в карету, чтобы ехать куда-то. Он взял письмо и пошел с ним наверх к себе. Когда он опять вышел на подъезд, то приказал горничной передать инспектрисе о том, что он едет к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: «Гони!»

Я целую вечность, как мне показалось, бродила по коридору, поджидая дядю. Наконец я увидела, что он поднимается наверх.

– Это что за грязная история? – строго спросил он меня, точно я была в ней виновата.

– Дядюшечка, дорогой! Пожалуйста, тише... Нас могут услышать... – И я быстро передала ему все, как было дело.

– Знаешь ли ты, глупая, что твои бабы могли меня скомпрометировать очень серьезно. Нет, этого я им не спущу! – И, нагибаясь к моему уху, он прибавил: – Твоей начальнице уже

наступил на хвост... повизжит! Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не двумя институтами управлять!.. – И он начал хохотать так, что все его грузное тело сотрясалось.



Портрет первой начальницы Смольного института благородных девиц Марии Павловны Леонтьевой (1792–1874), урожденной Шиповой. Художник – К. Рейхель

Дядюшкин смех был услышан в комнатах инспектрисы, и к нам выскочила горничная, вероятно, для того, чтобы посмотреть, кто пришел. Я потянула дядю за руку, и мы вошли. При нашем появлении татап поднялась и, протягивая руку дяде, начала говорить о том, как

она рада, что он поторопился приехать. Вероятно, теперь выяснится этот прискорбный случай, который...

Дядя более привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем вести светскую беседу. К тому же, он был взбешен всем этим делом.

– Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать... грязь! Я уже предупредил начальницу Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать долгом... священным долгом довести все это до государя императора. Моя жена – почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, но и она пришла в негодование, прочитав письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом ни единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, ее дяде, и сообщить о подозрениях, закравшихся у нее, требовать у меня объяснения относительно молодых людей, посетивших девочку. Но госпожа Тюфяева поступила как раз наоборот: с места в карьер она набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шума в городе, меня оно обрызгало бы грязью, а ее женская честь была бы навек загублена!.. В царствование императрицы Елизаветы Петровны – мудрейшая была государыня! – такой особе, как госпожа Тюфяева, отрезали бы язык...

– Генерал, генерал, ваше превосходительство! У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах!

Вдруг дядюшка быстро и сердито обратился в мою сторону и закричал на меня во все горло:

– Как ты смеешь, постреленок, тут торчать? Смей у меня не уважать начальство!

Я как ошпаренная выскочила в другую комнату, но ничего не потеряла из интересного для меня разговора. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру.

– Но чем же я виновата в этой истории? Я умоляла mademoiselle Тюфяеву не докладывать о ней начальнице, по крайней мере, несколько дней, но все было напрасно...

– Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты. Разве можно держать таких недостойных воспитательниц? Вы – начальница этого заведения, и вдруг позволяете подчиненной сесть себе на голову! Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили! Это большое преступление! Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верою и правдою служу моему обожаемому монарху и правду-матку привык резать в глаза... Правда, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого! – Но тут он начал смягчаться, подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы тот вместе с своим младшим братом навестил меня, как они быстро возвратились и т. д. – Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубочайшего уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве... Для меня несомненно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.

Инспектриса, несмотря на свою слабохарактерность, все-таки не позволила бы наговорить всего того, что ей пришлось выслушать, но ее, как она мне сама сознавалась уже после моего выпуска, вынуждал к этому страх, что крутой и шумливый генерал, чего доброго, действительно доведет до сведения государя эту историю и что в таком случае она наделает много неприятностей институтскому начальству. Как только она могла прервать поток горячих речей моего дядюшки, она начала высказывать ему, что вполне понимает справедливость его негодования, и уже по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какую возвышенную, благородную душою он обладает.

Дядюшка не всегда мог устоять перед лестью. Он вскочил с своего места, протянул руку и с чувством произнес:

– Как же иначе? Моя племянница – дочь моей родной сестры, сирота, я единственный ее защитник и покровитель! Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице, чудная, святая женщина... она должна питать к вам только благоговение и восторг, а вот начальница Леонтьева... простите... того... н-да...

Инспектриса, видимо, до смерти перепугалась, что такой невоздержанный на язык человек, каким был мой дядя, может и относительно начальницы высказать что-нибудь неподходящее здесь, где даже стены должны были слышать по отношению к ней лишь славословия, а потому живо перебила его.

– Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов: не доводите этой истории до государя... Убедительно прошу вас об этом! Ну для чего вам это? Дайте же мне честное слово, что все это останется между нами.

– Мне самому приятнее миролюбиво покончить с этой историей... Но я дам вам честное слово не беспокоить его государя только в том случае, если вы поручитесь мне, что госпожа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.

– О, это я беру уже на себя! – воскликнула инспектриса.

Я ожидала, что при этом удобном случае она сообщит дяде о моем дурном поведении вообще, но она тут, как и всегда, проявила доброту и не упомянула даже о моей «отчаянности». Вообще наша инспектриса бывала даже великодушна, если только обстоятельства в ее тяжелом положении не заставляли ее действовать вопреки ее природным склонностям.

Когда дядя попросил ее позвать меня, я моментально прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и приковала к нему свой взор, дабы удалить всякое подозрение насчет того, что я слышала разговор. Когда я вошла, дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом своими двумя пальцами, произнес с адскою суровостью наставление в виде целой речи, по обыкновению не заботясь в ней ни о последовательности, ни о логике, а нередко пренебрегая даже здравым смыслом.

– Я требую от тебя прежде всего полного и безусловного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, всем помышлением, молиться ежедневно за него богу, точно так же, конечно, и за mademoiselle Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем все это она сделала? Ей было приятно, что ли, поднять всю эту истерию? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти за твоей нравственностью! Но если в твою голову когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание на самом деле поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила mademoiselle Тюфяева, потому что у тебя чертики бегают в глазах... берегись! Тогда... тебя не придется и исключать из института... О нет, я этого не допущу! Понимаешь ли ты... я этого никогда не допущу! (При этом он страшно расширил глаза.) Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками... своими собственными руками оторву тебе голову... задушу... убью!

Все это он говорил уже с кровожадно-свирепым выражением лица, наглядно показывая руками все степени казни, которые я должна буду испытать.

Когда мы выходили с ним из коридорчика, какая-то фигура быстро промелькнула мимо нас и скрылась. Я догадалась, что то была Ратманова, подслушивавшая и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.

Я вошла в дортуар, – все уже были в постелях. Ратманова с хохотом высвободилась из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами; остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказывать им подробно и по порядку все, что было. Но я совсем не была расположена к болтовне и отвечала им вяло и неохотно, что удивляло подруг, находивших, что я должна была бы иметь торжествующий и ликующий вид. Испуг, державший меня столько часов в напряженном ожидании неминуемой беды, и сознание, что

только счастливый случай помог мне выкарабкаться из нее в первый раз в жизни, во всем потрясающем ужасе показал мне все мое ничтожество перед грозной силой нашего начальства, которое завтра же может сделать со мною все, что угодно. Я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, горько рыдала. Вероятно, те же мысли пришли в голову и моим подругам: всхлипывание, сморкание и откашливание раздавались со всех сторон... Только Ратманова, менее всех поддававшаяся чувствительности, громко изрыгала самую отборную брань по адресу классных дам вообще и Тюфяевой в особенности.

На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они при этом обсуждали, для нас осталось неизвестным; не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую она на этот раз продержала у себя очень долго, но, вероятно, последняя не получила для себя ничего утешительного: несколько дней после этого события ее физиономия выражала какую-то пришибленность, и она сидела в классе совсем тихо, безучастно относясь даже к тому, что воспитанницы шумели в неурочное время. Во всяком случае, роль добровольного полицейского, которую эта истинная злопыхательница исполняла так усердно, была временно приостановлена. Ко мне она совсем не придиралась более, даже не произносила моего имени.

Что же касается инспектрисы, то, вежливая и ласковая со всеми, она стала относиться ко мне с особенным вниманием. Однажды она заявила мне, что просит меня приходить к ней в послеобеденное время всегда, когда я буду свободна от уроков. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтер Скотта во французском переводе, объясняла все для меня непонятное, расспрашивала о членах моей семьи. Эти два-три месяца, когда я по разу, по два в неделю приходила к ней по вечерам, были самым светлым воспоминанием во всей моей институтской жизни дореформенного периода. С материнским участием и лаской она как-то просила меня объяснить ей, почему до сих пор я была «отчаянной», почему только в самые последние недели на меня перестали жаловаться классные дамы.

– Мне кажется, – говорила она, – ты просто напускаешь на себя эту отчаянность!.. Я сама заставляла тебя после твоих «отчаянных выходов», когда ты положительно имела вид *d'une personne arrogante*... (высокомерной личности – *франц.*).

– Потому что я ни от кого не слыхала здесь доброго слова!.. Вы говорите, тамап, что за последнее время на меня не жалуются... Когда я стала к вам приходить... вы так добры ко мне... я сама чувствую, что теперь злость моя начинает проходить...



Ольга Александровна Томилова (урожденная Энгельгардт) (1822–1894) – начальница Смольного института благородных девиц в 1875–1886 годах, фрейлина российского императорского двора. Неизвестный художник.

В конце 1872 года М. П. Леонтьева желала приготовить себе преемницу. Она ходатайствовала за назначение Томиловой, которую она помнила, как девицу Энгельгардт, бывшую одной из блестящих учениц выпуска 1839 года.

М-те Сент-Илер громко рассмеялась, я сконфузилась, но не понимала всей наивности моего признания. Я не умела лучше сформулировать то, что как-то неопределенно бродило в моей голове. Только гораздо позже я могла бы ответить ей, что весь строй нашей жизни, с ее казенщиной и формализмом, представлял стоячее болото, которое могло выращивать только болотные растения. Не имея книг для чтения, ничего не извлекая из преподавания для

развития ума, лишённые человеческого руководства наставниц, воспитанницы не могли укрепляться в добрых чувствах, у них росло лишь раздражение, развинчивались нервы, вырабатывались индифферентизм ко всему и рабские чувства или отчаянная грубость.

– Убедительно прошу тебя, мое дитя, попробуй быть менее дерзкой, уверяю тебя, и классные дамы будут тогда к тебе более снисходительны.

Какою любовью, каким восторженным обожанием забилося мое сердце от этих непривычных для меня добрых слов!

– О, мама! Вы – святая! – вскричала я в исступленном восторге. – Я не стою поцеловать вашу руку. – И я в экстазе упала перед ней на колени и поцеловала край ее платья.

– Ах ты, восторженная головушка! – кинула мне мама, и я, переконфуженная от сказанного, бросилась бежать из ее комнаты.

Вскоре после описанных происшествий все обстоятельства институтской жизни начали влиять на ослабление моей отчаянности, задора и воинственности. Этому прежде всего помогало то, что мы перешли в так называемый выпускной класс, где наши воспитательницы уже менее придирались и реже наказывали воспитанниц. Кроме того, «выпускные» пользовались некоторыми привилегиями: в послеобеденное время до чая классные дамы иногда уходили в свою комнату и оставляли нас одних в классе, а иной раз приказывали даже без них спускаться в столовую. Моему умиротворению содействовало и сердечное отношение ко мне инспектрисы, отсутствие придинок со стороны Тюфяевой, а главное – то, что инспектором классов к нам был назначен Ушинский; но о нем я буду говорить ниже.

Когда однажды я возвратилась от m-me Сент-Илер ранее обыкновенного, Ратманова встретила меня язвительными словами:

– Ты ловко обдeldываешь свои делишки! Ничего, что «отчаянная», а сумела приобрести благоволение инспектрисы!

Я была поражена и растерянно переводила глаза с одной подруги на другую.

– Хотя madame Сент-Илер и начальство, но она чудная, святая женщина, – проговорила я наконец. – Я не считаю подлостью ее посещать! Она не из тех, которые выспрашивают о том, что делается в классе. Кажется, я еще никому из вас не навредила!

– Никто не обвиняет тебя в этом, никто не сомневается и в том, что инспектриса не станет у тебя выпытывать что бы то ни было, но не все придерживаются твоего мнения, что она святая женщина!.. Пожалуй, все, кого бы она пригласила к себе, стали бы к ней бегать... Но едва ли это следует делать! – Так говорила Бринкен, бесспорно самая умная из всех моих подруг.

Эти слова смутили меня гораздо более, чем обвинение Ратмановой.

– Но почему же, почему? – растерянно спрашивала я ее.

– Просто потому, – отвечала она, – чем дальше от начальства, тем лучше...

– Чудная, святая женщина! – передразнивала меня Ратманова. – Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать эконому, чтобы он не обкрадывал нас... Классные дамы жалуются на нас, – она всегда принимает их сторону, а не нашу... Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, превосходно сознавая, что та тебя оклеветала!..

Но тут кто-то из наших вбежал к нам и закричал:

– Чего вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили... Будут попрекать, что вы без классной дамы и шагу не умеете ступить!

Все бросились в пары, и мы понеслись с лестницы. Я машинально бежала за другими, но про себя обдумывала только что происшедший разговор. «Да, они правы, тысячу раз правы! – твердила я себе. – Что сделала полезного для нас инспектриса? Только что не груба! А я уже и в восторг пришла от ее святости!» Но вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы: на одном из ее поворотов я задержалась было, но сзади бегом спускавшиеся воспитанницы нечаянно толкнули меня, и я уже без всяких задержек полетела вниз, пока не упала на пол, недалеко от дверей столовой. Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла с другими в столовую. Скоро я совершенно успокоилась, а когда мы пришли в дортуар и улеглись спать, я тотчас уснула. Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом, в надежде как-нибудь оправдаться перед дортуарной дамой, но меня никто не тревожил. Когда прозвонил колокол и наши начали вставать, я объявила им, что у меня кружится голова, и я не могу приподнять ее от подушки. Наконец мне удалось привстать, но приступ жестокой лихорадки так сковал мои члены, голова так кружилась, что я не могла шевельнуться. Мне помогали вставать подруги; то одна, то другая из них, указывала на то, что шея и грудь у меня распухли и покрылись кровоподтеками; они потолковали между собой по этому поводу и единогласно пришли к мысли, что при таком положении для меня невыносимо идти в лазарет: перед доктором придется обнажить грудь, и этим я не только опозорю себя, но и весь выпускной класс. Это обстоятельство, рассуждали они, должно заставить каждую порядочную девушку вынести всевозможные мучения скорее, чем идти в лазарет.

То одна, то другая задавала мне вопрос: неужели у меня не хватит твердости характера вынести боль? Я, конечно, вполне разделяла мнение и взгляды моих подруг на вопросы чести, но не могла им отвечать как от головокружения, так и от смертельной обиды на них за то, что они могут сомневаться во мне по такому элементарному вопросу, как честь девушки. Я решила, что к такому дурному мнению обо мне они пришли только потому, что я посещала инспектрису. Все это я высказала им в отрывочных фразах, проливая потоки слез и от обиды, и еще более от мучительной боли в груди. Подруги успокаивали меня, просили не волноваться, чтобы сохранить силу мужественнее вынести несчастье, ниспосланное мне судьбою. Когда я оделась с их помощью и зашаталась, они заботливо поддерживали меня со всех сторон, давали нюхать одеколон, смачивали виски.

На этот раз забота обо мне подруг, не склонных вообще задумываться над несчастьем друг друга, была поистине трогательна. Когда мы вошли в класс, они, посоветовавшись между собой, подошли к дежурной даме и просили ее позволить мне сидеть в пелеринке во время всех уроков. «У нее кашель, – говорили они ей, – но она не желает из-за таких пустяков идти в лазарет и пропускать урок». Та согласилась на это. Но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от лихорадки; тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и колени, даже обмотали мои руки, советуя не поднимать их из-под пюпитра.

Я сидела и ходила, как автомат, но как только от боли у меня вырывался стон, подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня воздерживаться от стонов. У меня пропал аппетит, и они по-братски поделили мою порцию во время завтрака и обеда.

Когда на другой день я опять после бессонной ночи встала с постели с еще более значительною опухолью на шее и груди и двигалась еще с большим трудом, они решили, что это произошло оттого, что я накануне ничего не ела, и что они должны заставлять меня есть. Я понимала, что я в их власти, и не имела силы ни сопротивляться, ни говорить, а потому делала усилия и ела, как они этого требовали. Но когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что подруги насилу вытащили меня в коридор к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, и принялись обливаться холодной водой мою несчастную голову, горевшую как в огне. Всю последующую ночь то одна, то другая подруга подбегала к моей постели, укрывала меня, клала намоченное полотенце на мой горячий лоб, но мне

становилось все хуже. На третий день утром я заявила им, что не могу встать. Хотя то одна, то другая из них, осматривая меня, вскрикивала: «У нее еще более распухла грудь и посинела шея!» – тем не менее было решено, что мне нужно встать и отправиться в класс. Общими усилиями они одевали и обували меня в постели, уговаривали не терять мужества, и это заставило меня встать, хотя и с их помощью. Но они сами убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно, а потому решили *скрыть* меня и, когда все отправятся в столовую, оставить при мне одну из подруг.



Медицинский осмотр воспитанниц института. 1889 г.

У нас не было обычая пересчитывать воспитанниц; к тому же во время чая на столе не стояло приборов, а потому скрыть отсутствие одной-двух воспитанниц было нетрудно. Когда наши возвратились в класс, моя сторожиха стащила меня туда же и усадила на скамейку, а другие подошли к дежурной даме просить ее о дозволении для меня сидеть на уроках в пелеринке. Но та отвечала, что так как с тою же просьбою они уже обращались к ней третьего дня, то она убеждена, что это какой-нибудь фокус, а потому и приказала мне подойти к ней. Я встала, но, сделав несколько шагов, упала без чувств.

Когда я пришла в сознание, я лежала в отдельной комнате лазарета, предназначенной для труднобольных. В ту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама, сиделка и трое мужчин, из которых я узнала только одного нашего доктора. Кто-то незнакомый мне, наклонившись надо мной, просил меня назвать мое имя, отчество и фамилию; я исполнила его желание, и только позже мне стало известно, что этот вопрос был задан с целью узнать, в порядке ли мои умственные способности. На его вопрос, сколько времени я нахожусь в лазарете, я отвечала:

– Часа два-три.

– Вы лежите в лазарете одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделана операция. Старайтесь побольше спать и есть.

Прошло уже около двух месяцев, как меня принесли в лазарет, а я была так слаба, что не могла сидеть и в постели. Тупое равнодушие овладело мною в такой степени, что мне не приходила даже в голову мысль о том позоре, которому я, по институтским понятиям, подвергала себя при ежедневных перевязках, когда доктора обнажали мою грудь; не терзалась я и беспокойством о том, как должны были краснеть за меня подруги. Кстати замечу, что, по тогдашнему способу лечения мою рану не заживляли более двух месяцев, и я носила фонтанель^[18]. Но вот наконец, когда однажды я почувствовала себя несколько бодрее, доктор, делавший операцию, сел у моей кровати и начал расспрашивать меня о том, почему я не тотчас после падения с лестницы явилась в лазарет. Когда он несколько раз повторил свой вопрос, я отвечала:

– Просто так.

– Немыслимо, чтобы вы без серьезной причины решились выносить такие страдания!

– Я вам отвечу за нее, профессор... Я ведь знаю все их секреты! Хотя никто не сообщал мне, но я не сомневаюсь в том, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором, – вот милые подруженьки, вероятно, и уговаривали ее не ходить в лазарет.

– Однако этот институт – презловредное учреждение. – И, обращаясь ко мне, профессор добавил: – Понимаете ли вы, что из-за вашей пошлой конфузливости вы были на краю могилы?

Это меня жестоко возмутило. Когда доктор, проводив профессора, подошел ко мне, я со злостью сказала ему:

– Передайте вашему профессоришке, что, несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы точно так же, как и я... Покорнейше прошу сказать ему также, чтобы он не смел более называть меня девочкой... Еще должна вам заявить, что перевязок я более не позволю делать... Вы могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни...

Несмотря на усовещивания инспектрисы, до сведения которой было немедленно доведено мое намерение, я оставалась твердой и непоколебимой. На другой день с одной стороны к моей кровати подошел наш доктор, с другой – профессор. В ту минуту, когда я приподнялась, чтобы выразить им мое нежелание показать рану, один из них схватил меня за руки, а профессор спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану. Все это было сделано с такой быстротой, что я не успела сказать ни слова, а перевязка и очищение раны были сопряжены со смертельною болью, и у меня сразу вылетело из головы все, что я собиралась сказать.

Однажды вдруг распространилось известие, что государь уже на Николаевской половине. Ко мне вошла инспектриса и предупредила, что государь, вероятно, зайдет в это отделение, так как он всегда заходит к труднобольным, если только в лазарете нет эпидемии. При этом она учила меня, как я должна приветствовать его. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово, и передала все то, что государь, по ее мнению, мог спросить меня.

Меня стали облекать в чистые одежды, кругом все торопливо вытирали и подчищали, хотя нужно отдать справедливость, что у нас не только в лазарете, но и в классах все блестело идеальной чистотой.

И император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении инспектрисы, доктора и всего лазаретного персонала. Дрожащим голосом я произносила свое приветствие на французском языке. Государь подошел к моей постели, в виде поклона чуть-чуть наклонил голову и стоял, выпрямившись во весь рост. Он не задавал мне вопросов о моей болезни, –

вероятно, доктор сообщил о ней, прежде чем он вошел ко мне, но спросил меня по-французски:

– Вы и теперь еще сильно страдаете?

– Теперь мне лучше, ваше императорское величество, – отвечала я.

– Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? – спросил государь, обращаясь к доктору.

– Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее расшатанное здоровье.

– Mademoiselle! – обратился ко мне государь. – Есть у вас родственники в Петербурге?

Я отвечала, что здесь живет мой родной дядя, Гонецкий.

– Вы можете отправиться к нему, как только врачи найдут это желательным, и оставаться у него до тех пор, пока совершенно не поправитесь, затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование. А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого?

Так как такой вопрос не был предвиден маман и я не получила по этому поводу никаких инструкций, то я простодушно отвечала:

– Я благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, ко мне *здесь*, в лазарете (я нарочно подчеркнула слово *здесь*, чтобы государь узнал, что только в лазарете, но мой заряд пропал, конечно, даром), все очень добры, мне дают даже *beau de la vierge*.

Государь сдвинул брови:

– Что это такое *beau de la vierge*? Как вы называете это по-русски?

– Ваше императорское величество! Мы называем так «девичью кожу»...

– Ничего не понимаю. Что это значит? – И государь обратился к доктору.

– Род пастилы, ваше императорское величество, которую мы держим как лакомство для больных: она называется у институток «девичьей кожей».

– А когда вы захотите еще чего-нибудь, кроме «девичьей кожи», – сказал государь, обращаясь ко мне и чуть-чуть улыбаясь углами губ, – вы можете об этом заявить господину доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.

Радостный, веселый, подбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета и стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой продолжительной беседы он меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал... Через неделю-другую меня отпустят домой, а теперь будут раскармливать: цыплята, вино – все будет к моим услугам...

– Да вы стоите этого! Как мило вы о нас отозвались... Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому. Но ведь этого никто, кроме инспектрисы, не заметил.

Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна.

– Напрасно, совершенно напрасно ты утруждала государя такими длинными ответами и всякими пустяками!.. Задерживать государя таким вздором считается верхом неприличия!.. И эта «*beau de la vierge*» была так некстати!

Но я решила, что ее раздосадовало то, что я в разговоре с государем упомянула о хорошем отношении ко мне *только* лазаретных служащих.



Лазарет Смольного института. 1889 г.

Глава IV

Результаты институтского воспитания и образования

Религиозное воспитание. – Образцовая кухня. – Обучение рукоделию. – Изучение французского языка. – Дневники и стихотворения воспитанниц

Наше воспитание отличалось строго религиозным характером. Начальница Леонтьева, если судить по ее донесениям императрице, была им очень довольна. Она писала ей: «Трогательное зрелище представляют молодые девушки, глубоко проникнутые религиозными идеями; они уносят их далеко от того света, в котором им предназначается жить и к которому они должны были бы чувствовать влечение уже вследствие своего юного возраста!..»[19].

Религиозное воспитание, получаемое нами, состояло как в теоретическом изучении обширного курса закона божия, так и в практическом применении к жизни предписаний православной религии, из которых на первом месте стояли – строгое соблюдение постов и чрезвычайно частое посещение церкви. Что касается постов, то все условия нашей жизни лишали нас возможности строго их соблюдать. Хотя мы и получали в это время постную пищу, но так как мы в такие дни особенно сильно испытывали муки голода, то, когда родственники приносили кому-нибудь из нас съестное, мы не могли разбирать, было ли то скоромное или постное, и с одинаковым наслаждением уничтожали и постный пирог с грибами, и курицу.

Во все воскресные, праздничные и царские дни и в кануны их, а также в первую и Страстную недели Великого поста мы посещали церковь, нередко даже по два раза в день, а также и всю четвертую неделю этого поста, когда говели. Церковными службами нас так утомляли, что многие воспитанницы падали в церкви в обморок. Непосильное утомление заставляло многих употреблять все средства, чтобы избавиться от посещения церкви, но так как этого добивались решительно все, то между нами обыкновенно устанавливалась очередь (сразу не более трех-четырех в дортуаре), которая давала право заявить дежурной даме о том, что они не могут идти в церковь по причине зубной, головной или другой какой-нибудь боли. При большом количестве воспитанниц желанная очередь наступала редко, а потому многие решались симулировать дурноту, и некоторые воспитанницы делали это очень искусно. Во всем блеске этот талант проявлялся у девиц старшего класса, так как в нем уже более рельефно отражалось все дурное, привитое закрытым заведением.

Взрослые институтки удивительно ловко умели представлять обморок: задерживая дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали, как будто внезапно теряли сознание, ловко падали на пол, даже с грохотом, не причинив себе ни малейшего вреда. Но были в этом отношении и совсем бесталанные: несмотря на обучение их этому искусству опытными подругами, они никак не могли усвоить его. Такие несчастные создания в известный момент богослужения вытягивали из кармана махорку, приобретенную у сторожа за дорогую цену, и засовывали ее за щеки. У них подымалась рвота, и их выводили из церкви.

В конце концов религиозное воспитание, получаемое в институте, содействовало только нравственной порче и полному индифферентизму к религии. К выпуску оставалось чрезвычайно мало девушек религиозных; даже те, которые с таким благоговением и трепетом приступали к причастию в первый год своей институтской жизни, перед последним причастием уже грызли шоколад, нередко делая это демонстративно и громко высмеивая религиозные обряды. Утрате религиозных чувств сильно помогало ханжество – как начальницы Леонтьевой, так и всех классных дам; на языке у них всегда были слова: милосердный Бог, всепрощение, любовь к ближнему, святая религия, но на деле никто из них не выказывал участия, христианского милосердия и любви к воспитанницам.

Точно так же и большая часть других правил и предписаний, положенных в основу институтского воспитания и обучения, давала лишь самые печальные результаты. Чтобы подготовиться к скромной доле, ожидавшей многих из нас в будущем, мы должны были уметь готовить кушанья, для чего существовала образцовая кухня. Девицы старшего класса, соблюдая очередь, по пяти-шести человек ходили учиться кулинарному искусству. В такие дни они не посещали даже уроков. К их приходу в кухне уже все было разложено на столе: кусок мяса, готовое тесто, картофель в чашке, несколько корешков зелени, перец, сахар. Одна из воспитанниц должна была рубить мясо для котлет, другая толочь сахар, третья – перец, следующая мыть и чистить картофель, раскатывать тесто и разрезать его для пирожков, мыть и крошить зелень. Все это делалось воспитанницами с величайшим наслаждением. Кухня служила для нас большим развлечением; к тому же она избавляла от скучных уроков и на несколько часов от полицейского надзора классных дам. Но такие кулинарные упражнения не могли, конечно, научить стряпне и были скорее карикатурой на нее. Воспитанницы так и не видели, как готовят тесто, не знали, какая часть говядины лежит перед ними, не могли познакомиться и с тем, как жарят котлеты, для которых они рубили мясо. Кухарка смотрела на это как на дозволенное барышням баловство и сама ставила кушанье на плиту, опасаясь, чтобы они не обожгли себе рук или не испортили котлет; сама она возилась и около супа. Барышням она поручала толочь сахар, перец и все, что нужно было рубить и толочь, что те и производили в такт плясовой, а это заставляло смеяться и кухарку и воспитанниц. Их веселому настроению содействовало и то, что обед,

приготовленный «их руками», они имели право съесть сами, а он был несравненно вкуснее, питательнее и обильнее обычного.

Обучение рукоделию хотя и не носило столь комичного характера, как обучение кулинарному искусству, но тоже не достигало никакой цели и роковым образом отражалось на успехах в науках весьма многих воспитанниц. В институте было не мало девочек, которые уже при вступлении в него умели порядочно шить и знали несколько женских работ. На первом же уроке учительница рукоделия осведомлялась, кто к чему приучен был дома: необученным шить она давала обметывать швы, мотать мотки или выдергивать нитки из полотна, чтобы с их помощью разрезать его, учила их сшивать полотнища, но далее этого обучение не шло. Тех же воспитанниц, которые заявляли учительнице о том, что они любят вышивать ковры или шить гладью, немедленно присаживали за эти работы.

В институте всегда приходилось заготавливать большое число вышивок и прошивок для украшения всевозможных юбок, полотенец, накидок. Ковры шли как на подарки, так и на украшение церкви. Редко выпадал месяц в году, когда не требовалось окончить какого-нибудь сюрприза: то наступал день именин начальницы или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, то годовые праздники, в которые также подносились подарки. Вследствие этого учительница страшно обременяла работою воспитанниц, имевших неосторожность выказать любовь к рукодельям. Уроки рукоделия происходили раз в неделю, по полтора часа, – этого времени было крайне недостаточно, чтобы покончить со всеми работами. Воспитанницам, хорошо исполнявшим шитье гладью, раздавали на руки полосы различной материи, чтобы по вечерам, когда они должны были готовить уроки к следующему дню, они занимались вышиваньем. Ковры же вышивали в пяльцах, и учительница рукоделия просила классных дам отпускать воспитанниц вечером к ней в мастерскую. Нередко оказывалось, что и вечеров не хватало на окончание какого-нибудь подарка. Тогда учительница обращалась с просьбой к инспектрисе отпускать к ней воспитанниц даже во время урока. Если сюрприз предназначался высокопоставленному лицу, инспектриса находила невозможным отказать в такой просьбе, и несколько воспитанниц вследствие этого не посещали уроков неделями, а то и месяцами.

Превосходно исполненные ковры, на которых изображены были цветы, ландшафты, сцены из рыцарской и пастушеской жизни, приводили в такой восторг не посвященных в это искусство воспитанниц, что многие из них умоляли учительницу выучить их этой работе. Но та обыкновенно отвечала:

– Если вы испортите материал, я должна буду откупить его на свой счет!.. И когда мне возиться с вами! Вы жалуетесь, что я заваливаю работою ваших подруг... А посмотрите, когда я сама ложусь спать! Мне то и дело приходится по ночам оканчивать работу, которая будет поднесена в подарок от вашего имени...

Во время публичного выпускного экзамена в особых комнатах института устраивалась выставка работ учениц. Тут можно было видеть превосходно вышитые ковры, вышивки по батисту и цветной материи гладью, белой и разноцветной бумагой и шерстями, искусно исполненные цветы, а также белье, сшитое ручною строчкою. На стенах висели картины, написанные масляными красками и акварелью: здесь красовалась головка гречанки, там – девочка с козой, цветы. Хотя все эти картины с художественной точки зрения были ниже всякой критики и оказывались плохими копиями, но и они исполнены были с помощью учителя рисования, который не только исправлял рисунок, но и рисовал в нем все более трудное; однако и на это способны были лишь очень немногие воспитанницы, а громадное большинство так и выходило из института, не умея срисовать с рисунка даже простого стула, не говоря уже о рисовании с натуры: наглядный метод совершенно отсутствовал в обучении

дореформенного времени. Что же касается рукоделия, то громадное большинство кончало курс, выучившись одному или двум швам.

Выпускницы в швейной мастерской. 1889 г.

«Требование, предъявляемое женщинам, – иметь свой самостоятельный заработок, – многими понималось в начале крайне односторонне. Я не буду говорить о тех, тяжелое материальное положение которых вынуждало и мужа, и жену брать занятия вне дома. Но даже там, где муж или отец зарабатывали достаточно для скромного существования, все же требовалось, чтобы женщина вносила в семейный бюджет и свой собственный заработок»

(Елизавета Водовозова)

Знанию французского языка придавали громадное значение. На девочку, умевшую болтать на этом языке при своем вступлении в институт, смотрели с большим благоволением. Ей прощали многое такое, чего не прощали другим; находили ее умною и способною даже тогда, когда этого вовсе не было. На изучение этого языка во всех классах отводили наибольшее количество часов: в белом (старшем) классе изучали французскую литературу, писали письма и сочинения на этом языке. Классные дамы и все начальство говорило с нами по-французски. Между собою воспитанницы тоже обязаны были говорить на этом языке. Какое громадное значение уже издавна приписывали в институте французскому языку и до какого комизма доходила наивная вера в его могущество, видно из воспоминаний воспитанницы Патриотического института. Когда 14 декабря 1825 года раздалась пальба из орудий, начальница Патриотического института обратилась к воспитанницам с такою речью: «Это Господь Бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи. Самый главный и тяжкий грех ваш тот, что вы редко говорите по-французски и, точно кухарки, болтаете по-русски». «В страшном перепуге, – говорит автор воспоминаний, – мы вполне познавали весь ужас нашего грехопадения и на коленях перед иконами, с горькими слезами раскаяния, тогда же поклялись начальнице вовсе не употреблять в разговоре русского языка. Наши заклятия были как бы услышаны: пальба внезапно стихла, мы успокоились, и долго после того в спальнях и залах Патриотического института не слышалось русского языка» («14 декабря 1825 года в Патриотическом институте» С. А. Пелли, «Русская старина» 1870 года, август). Я же описываю несравненно более поздний период времени, уже накануне реформ в Смольном. Но и в это время, как и прежде, институтки были просты до наивности и вследствие своего невежества очень суеверны, но в мое время нас никто, а тем более начальство, не могло запугать гневом божьим уже по одному тому, что даже религиозные девочки утрачивали в институте свою простодушную веру. Что же касается французского языка, то хотя изучению его у нас и придавали громадное значение, но так как в нас не выработали серьезного отношения к какому бы то ни было знанию, не научили уменью заниматься, не привили нам должной усидчивости и интереса к какому бы то ни было предмету, мы все обучение обращали в пустую формальность. Если до слуха классной дамы доходила русская речь воспитанницы, она кричала ей: «Как ты смеешь говорить по-русски?» Та отвечала: «Но я сказала: *comment dit-on en francais?*»[20]. Классная дама удовлетворялась этим ответом, а та продолжала болтать по-русски.

Разговоры с классными дамами и с более высшими начальственными лицами ограничивались каким-нибудь десятком-двумя официальных фраз (в это число входили всевозможные поздравления), которые заучивались воспитанницами в первый же год их вступления в институт. Вследствие этого институтки не могли поддерживать серьезного разговора на французском языке, не могли они и читать на этом языке серьезные книги, –

впрочем, и по-русски они не могли ни вести серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и русская речь воспитанниц не отличалась ни богатством слов, ни разнообразием выражений. Можно себе представить, какие успехи делали воспитанницы в других предметах, если изучение французского языка было столь неудовлетворительно.

Наше время было так распределено, что если бы преподавание в институте и было поставлено более правильно, у нас не хватало бы времени для серьезных занятий. Уроки в старших классах заканчивались в 5 часов, когда шли к обеду. После него до вечернего чая можно было готовить уроки, но один вечер в неделю уходил на танцы, один, а то и два вечера – на церковную службу перед праздничными днями, один – у некоторых на упражнение в пении, у других – на рукоделие; таким образом, оставалось в неделю всего два-три свободных вечера. В кофейном классе большая часть времени тратилась на переписку: переписывали басни и рассказы, писали неправильные французские глаголы, – для всего этого существовали особые тетради. Если в одной из них оказывалось несколько чернильных пятен или несколько строк криво написанных, классные дамы заставляли девочку переписать всю тетрадь. В старших классах не обращали внимания на чистоту тетрадей, но девицы также убивали много времени на переписку: большая часть учителей задавала им уроки не по учебникам, а по собственным запискам, – вот эти-то записки и приходилось переписывать. Из сказанного ясно, что на учение уроков у нас оставалось крайне мало времени, тем более что в эти свободные вечера приходилось не только переписывать записки учителей, но и делать сочинения на русском и французском языках.

Как мало знаний выносили мы из преподавания, какими поразительными невеждами оканчивали курс, будет видно из следующего очерка; к сказанному же прибавлю только, что большая часть наших учителей сами были людьми невежественными и никуда не годными педагогами. Даже по внешности, кроме француза, они представляли, точно на подбор, отовсюду набранных, отживших стариков, навсегда сданных в архив в эту, так сказать, учительскую богадельню Смольного. Случалось, – впрочем, крайне редко, – что вследствие болезни или смерти тот или другой из престарелых педагогов выбывал из строя, и его место замещал еще не совсем старый человек, но после нескольких уроков такие учителя обыкновенно исчезали с нашего горизонта по неизвестной для нас причине. Один из них был удален после пяти или шести уроков только за то, что сказал:

– Девицы, вы передаете все в зубрежку и плохо рассказываете оттого, что ничего не читаете, – просите начальство снабдить вас книгами для чтения.

Поступив в институт в раннем детстве и во время всего своего пребывания в нем, удаленная от природы и людей институтка не имела ни малейшего представления о жизни. За высокие стены ее заколдованного замка не долетало ни одного человеческого стога, ни малейшего сведения не доходило до нее о каком-нибудь общественном движении, и вообще решительно ничего не знала она о положении своей родины, о ее несчастиях и надеждах. Окончив курс в дореформенном институте, институтка вступала в жизнь с самыми дикими воззрениями, с самыми наивными предрассудками, с нелепыми требованиями от людей, с пошлыми и сентиментальными мечтами. Ее манили к себе роскошь, балы, выезды, туалеты, танцы, ухаживания блестящих кавалеров. Одним словом, она мечтала о том, о чем мечтали тогда все так называемые «кисейные барышни».

Нужно, однако, заметить, что и русское общество того времени предъявляло девушке лишь эстетические требования. Наклонную к серьезному чтению и разговору называли «синим чулком» и жестоко высмеивали. Что же мудреного в том, что в институте, этом все более дряхлеющем и отживающем свой век учреждении, не следившем за новыми течениями в лучшей части современного общества, продолжали воспитывать в дворянском духе, развивая

пристрастие к аристократическим нравам? Девушка того времени при домашнем воспитании, как бы оно плохо ни было, испытывала в семье материальную нужду и житейские невзгоды, все же могла скорее и легче понять все ничтожество, всю призрачность и эфемерность эстетических иллюзий, все неудобство применения их к практической жизни. Институтка же, наоборот, все время своего умственного и нравственного роста проводила в заточении, как сказочная царевна. Все, что требовалось для жизни: стол, платье, постель, комната, – было к ее услугам; она оказывалась устраненной от каких бы то ни было забот. Откуда бралось все существенное для жизни, она не знала; не слыхала, чтобы и другие интересовались этими вопросами. Она не могла даже догадываться о том, какую тяжкую борьбу добывают люди свой насущный хлеб, совсем не была приготовлена к трудовой жизни.

Вот почему после окончания институтского курса большая часть ее понятий были нелепы, ее страх безрассуден, отношение к обыденной жизни и ее явлениям подчас просто комично. Она идет по улице, а с противоположной стороны навстречу ей приближается мастеровой под хмельком, – она с ужасом бросается в сторону; поползет по руке червяк, сядет насекомое – она с визгом несется куда глаза глядят. Многие из воспитанниц после выпуска были убеждены в том, что если кавалер приглашает во время бала на мазурку, это означает предварительное сватовство, за которым последует формальное предложение. Одна институтка, прождав напрасно в продолжение нескольких дней своего кавалера в бальной мазурке, была так скандализирована этим, что бросилась к своему брату-офицеру, умоляя его выйти на дуэль и стреляться с человеком, по ее мнению, опозорившим ее. Если родители институтки не соглашались выдать ее замуж за человека, сделавшего ей предложение, если он был даже известный негодяй, она воображала, что получивший отказ должен непременно застрелиться, – и на этой почве происходило немало комичных и трагичных инцидентов.

Группа воспитанниц института благородных девиц в бальных платьях. 1889 г.

«Жизнь человеческая замерла бы на одной точке, если бы юность не мечтала, и зерна многих великих идей созрели незримо в радужной оболочке юношеских утопий»

(Константин Ушинский)

Институтка прежнего времени, покинув стены ее «alma mater»[21], была конфузлива до дикости; самый простой вопрос ставил ее в тупик. Она не умела разобраться даже в том, смеются над нею или обращаются к ней серьезно, не знала, как отнестись к людям, заговорившим с нею, и бывало немало случаев, когда она срывалась с места и выбегала из комнаты только потому, что кто-то подходил к ней «очень страшный». От этого сплошного обмана всех чувств, от этой ребячьей наивности некоторые институтки не избавлялись до конца своих дней. Если от природы девушка была умна, если институтское воспитание не успело вытравить в ней всех ее душевных способностей, она энергично начинала перевоспитывать себя. Но прежде чем житейские обстоятельства переделывали ее настолько, что она становилась хотя несколько пригодною к жизни, ей приходилось сделать много ошибок, принести много вреда и себе и другим. Если она выходила замуж за бедного человека и делалась матерью, она не умела ни ухаживать за детьми, ни найтись в затруднительном положении: для нее было немыслимо при ничтожных средствах устроить мало-мальски сносный обед, смастерить что-нибудь для ребенка из незатейливого материала, – она совершенно лишена была предприимчивости и находчивости в практической жизни[22].

Институтская жизнь дореформенного периода проходила в притупляющем однообразии монастырского заключения без горя и радостей, без нежных ласк и сердечного участия, без житейской борьбы и волнений, без надежд и разумных стремлений. Все, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен и, во всяком случае, слабое, беспомощное, бесполезное, незащитное существо. Иначе и быть не могло: в институте девушка лишена была всего, что дает возможность выработать собственное суждение, наблюдательность, энергию, волю, характер, самостоятельное чувство. Несмотря на то что в институте все было точно размерено и определено, все делалось по звонку и воспитанницы ни на одну минуту не оставались без надзора классных дам, – они, в сущности, росли без всякого призора. Хотя классные дамы вечно наблюдали, чтобы воспитанницы разговаривали как можно меньше и тише, те научились болтать перед их носом, не шевеля губами, делать вещи, строго запрещенные. Не имея возможности ни с кем из старших побеседовать по-человечески, посоветоваться, хотя изредка слышать человеческие разговоры и споры, воспитанницы предоставлены были только самим себе. Но что могли позаимствовать друг у друга девушки, воспитанные при одинаково ненормальных условиях? Они прекрасно знали несложную психологию друг друга, понятия и даже слова, в которых они выражали свое суждение по поводу того или другого явления институтской жизни; все они употребляли в своих разговорах одни и те же выражения, когда их что-нибудь поражало, выкрикивали одни и те же восклицания. Их воззрения, понятия, мысли и способности развивались по одному шаблону, их поступки нередко вредны были для их здоровья и нравственности. Они ели всякую дрянь: куски грифеля, графит, угольки, мел, стягивались корсетом в рюмочку, а некоторые даже спали в корсетах, чтобы приобрести интересную бледность и тонкую талию, – никто их не останавливал, никто не объяснял им, какой вред они себе причиняют.

Грубость классных дам делала и институток грубыми существами: так же как и их наставницы, они имели собственный лексикон бранных слов. Они то и дело ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. Громадному большинству была недоступна деликатность, бережное отношение к чувствам ближнего: соберутся вместе и пересчитывают красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричат им: «Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству!»

Начальство делало выставку решительно из всего, – все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места помещали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцевать перед ними на балах. Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью, – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово, – выученные наизусть сочинения задавали писать на публичных экзаменах. В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу. Красивого наряда для выпуска требовали даже те, матери которых в отчаянии ломали руки, не зная, как справиться, чтобы устроить дочери мало-мальски сносный туалет для ее выхода, который сразу требовал огромных издержек.

О выпуске мечтали все, как те, которым предстояло блеснуть на балах, так и те, которых ожидала трудовая дорога, но о ней никто не думал. И это естественно: чем ближе подвигалось время к выпуску, тем более утрачивали воспитанницы какое бы то ни было представление о действительной жизни. Многие из них имели род подвижного календаря: мелко написав на длинную ленту числа всех месяцев своего пребывания в институте, они отрезали истекшее число и торжественно провозглашали, сколько дней осталось до выпуска. Воспитанницы дореформенного института представляли себе жизнь не иначе, как усеянную розами. В институтских стенах им приходилось постоянно сдерживать себя, помнить кодекс

правил, вечно слышать брань озлобленных старых дев, испытывать голод, холод, тяжесть раннего вставания, – и они мечтали, что в будущем их ждет золотая свобода, что они будут вставать поздно, делать что захотят, что окружающие будут относиться к ним с искренней любовью. Что же удивительного в том, что весьма многим мечтательницам скоро пришлось сказать себе: «Жизнь, ты обманула меня!»

Дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии, даже естественных сердечных чувств. К институтке прививали все искусственное: учителя французского языка восторгались, когда их ученицы декламировали стихи Корнеля и Расина замогильным голосом, с искусственным пафосом. Это создавало фальшивую атмосферу, прививало любовь к фразе. Не только в Смольном, но и во всех закрытых заведениях дореформенного периода истинные чувства девушек заглушались высокопарными фразами. Они были в моде, в ходу, сильно поощрялись и высшим и низшим начальством, что еще более искажало природу воспитанниц. Вот что говорит А. В. Стерлигова в своих воспоминаниях о петербургском Екатерининском институте: «Одна из институток, узнав о смерти двух своих братьев, убитых на войне, составлявших притом единственную поддержку семьи, зарыдала, а все-таки сквозь слезы проговорила: “Слава богу, что они умерли за царя и отечество”. Об этих словах было доведено до сведения императрицы, пожелавшей увидеть воспитанницу. Государыня сделала ей подарок, а отцу ее была назначена пенсия в 1000 рублей, которая после его смерти перешла к дочери» («Русский архив» 1898 года, № 4, «Воспоминания А. В. Стерлиговой о петербургском Екатерининском институте 1850–1856 годов»).

Я перечитала несколько институтских дневников и чаще всего встречала в них описание того, как автор дневника встретил «свое божество» или как был наказан классной дамой; иногда встречалось восторженное описание посещения института императрицею, бросившей свой носовой платок на память воспитанницам, которые немедленно разорвали его на мелкие лоскутки, зашивали их, как ладанки, и носили на шее.

То же самое находим и в поэтическом творчестве институток, выражавшемся преимущественно в писании стихов в альбомы подругам. При отсутствии мысли, наблюдательности и творчества они отличались еще крайне неуклюжею рифмою, набором фраз и страшных слов, сопоставлением самых противоречивых понятий (например, «в моей крови горячей – жар холодный», «счастливое страданье»), а чаще всего склонностью к сентиментальности, таинственному и загробному.

Порвав нравственную и родственную связь детей с родителями, сделав их чуждыми и далекими друг другу, дореформенный институт делил старое и молодое поколение на два враждебных лагеря. И в этом лежит одна из причин, почему у нас всегда «отцы и дети» так враждовали между собой. У институток отнимали все, что красит жизнь, все, что оживляет чувство, заставляя радостно трепетать юное сердце от чистого счастья и восторга. Сердца молодых девушек, столь податливых на откровенность, засушивались, черствели и рано научались ненавидеть.

Смолянки на встрече французской делегации. 1890-е гг.

«Начальство делало выставку решительно из всего, – все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места помещали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцевать перед ними на балах»

(Елизавета Водовозова)

Муштровка и дисциплина приводили воспитанниц к одному знаменателю, стирали индивидуальность, делали институток похожими друг на друга не только манерами, но, за небольшими исключениями, даже характерами и вкусами, вырабатывали из них созданий, «к добру и злу постыдно равнодушных», лишенных воли, энергии и прежде всего какой бы то ни было инициативы. Начальство сознательно стремилось обезличивать их, – с такими ему легче было справляться, чем с «отчаянными». Их было сравнительно очень немного, этих «отчаянных»: ломая характер, ожесточая более, чем остальных, все же не могли стереть с них некоторой индивидуальности. «Отчаянных» классные дамы не переносили, но не выказывали ни малейшей симпатии и к остальным. «Дрянью на дряни и дрянью погоняет» – вот поговорка, которую мы всегда слышали, когда подымался шум в классе. Из всех воспитанниц они выделяли только «парфеток» (от французского слова «parfait» – совершенный). Несмотря на всю грубость и испорченность «отчаянных», между ними попадались благородные, иногда даже рыцарские натуры, а парфетками являлись самые тупые в нравственном и умственном отношении. Эти до мозга костей испорченные девушки с премудростью старых дев целовали руки и плечи классным дамам, пожирали глазами начальство, стремглав бросались по его поручениям, и большинство их шпионило за подругами и доносило на них классным дамам.

Выше было сказано, что процент смертности в институте был сравнительно невелик, но и вполне здоровых среди воспитанниц было чрезвычайно мало. В 1859 году инспектор по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии, лейб-медик Маркус представил свой отчет государыне, в котором говорит, что весьма многие воспитанницы страдают «оскудением крови». Причину этого явления он видел в том, что институтки мало двигались на воздухе и плохо питались. Он заметил также не мало случаев искривления позвоночного столба, что происходило, по его мнению, от продолжительного сидения в согнутом положении при вышивании по канве и переписывании тетрадей.

Но почему же матери так стремились отдавать в институт своих дочерей? Неужели он так-таки ничего хорошего не вырабатывал в своих питомцах? В русском обществе придавали тогда огромное значение хорошим манерам. И действительно, институтки отличались ими. Но не начальство содействовало этому, а подруги. Многие девочки при своем вступлении были крайне неуклюжими: одна ходила, переваливаясь с ноги на ногу, другая размахивала руками при ходьбе, закатывала глаза при разговоре, гримасничала. Когда воспитанница обращалась с вопросом к подруге, та отвечала ей, копируя в карикатуре ее манеры, причем весь класс покатывался со смеху. Иногда выстраивался целый отряд воспитанниц, дефилировавших перед злополучной девочкой, неимоверно топя ногами, выпячивая живот, – одним словом, представляя в комичном виде ее недостатки. Несчастливая девочка сердилась, бранилась, плакала, но постепенно отвыкала от усвоенных дурных привычек и скоро уже сама высмеивала других. Таким образом, воспитанницы самостоятельно вырабатывали в себе отвращение к дурным манерам, но, конечно, все это касалось внешней, одной только внешней стороны.

Однако институт приносил и более существенную пользу. Эпоха крепостничества перед освобождением крестьян была временем, когда страсти, разнузданные продолжительным произволом, у весьма многих помещиков выражались отчаянным развратом, когда в помещичьих домах содержались целые гаремы крепостных девок, когда пиры сопровождалась невообразимым разгулом, пьянством, драками, грубою бранью, когда из конюшен раздавались отчаянные крики засекаемых крестьян. Разлучая дочерей с подобными родителями, институт спасал их от нравственной гибели. Так было в дореформенное время.

Наконец и в институт, окаменевший в своей неподвижности, ворвался солнечный луч: в качестве инспектора классов к нам явился К. Д. Ушинский, этот величайший русский педагог-реформатор, а вместе с ним хлынула и волна новых идей, которые стали подтачивать допотопные институтские устои, даже изменять институтские нравы и обычаи.

Глава V

Смольный во время реформ

Назначение Ушинского инспектором классов. – Его отношение к бывшим учителям. – Его преобразования и вступительная лекция

В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский^[23]. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными. Наша всесильная начальница Леонтьева давно забрала в обоих институтах всю власть в свои руки и всегда действовала по своему личному усмотрению: ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Не имея ни малейшего представления о просвещенном абсолютизме, Леонтьева управляла двумя институтами, как монарх, не ограниченный никакими законами, по образцу восточных деспотов. Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.

Когда однажды у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились было к двери, чтобы выйти из класса, в него вбежал, буквально вбежал, среднего роста худощавый брюнет, который, не обращая внимания на наши реверансы и нервно комкая свою шляпу в руках, вдруг начал выкрикивать: «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете того, что портить чужую вещь духами или другою дрянью не деликатно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почему вы знаете... может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу... Да куда вам думать о бедности! Не правда ли... ведь это *fi donc*...^[24] совсем унижительно!» И с этими словами он выбежал из класса.

Мы были так ошеломлены, что стояли неподвижно. И было отчего: хотя классные дамы ежедневно осыпали нас бранью, упреками и намеками на что-то гнусное с нашей стороны, но от мужского персонала, от наших учителей и инспектора, мы никогда не слышали грубого слова. Для этого не было ни малейшего повода. Наши учителя редко вызывали плохих учениц, а хорошие твердо учили свои уроки. Если воспитанница не знала урока, ей ставили плохую отметку, и этим ограничивались все неприятности между учителями и нами. Учителя и инспектор обращались со всеми весьма вежливо. Что же касается вступления нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), то он обыкновенно торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски: «*Monsieur*, – рекомендую: воспитанницы такого-то класса», а обращаясь к нам, – «*mesdemoiselles*, ваш новый инспектор». Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько фраз нового инспектора, правда стереотипных, но в

чрезвычайно вежливой форме, в которых высказывалась уверенность, что мы своими успехами заставим его всегда вспоминать о проведенном с нами времени как о самом приятном для него. Затем начинался урок, во время которого учитель вызывал самых лучших воспитанниц, а инспектор старался ободрить конфузившихся и в конце концов высказывал, как он удивлен нашими успехами и хорошою подготовкою. «А это что за инспектор? Не успел появиться, и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков! Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения... А если бы и мы? Неужели такое преступление облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим! Какой-то невоспитанный, некомильфотный!.. И как приличны с нами эти разговоры о бедности!..» – рассуждали мы. Но долго останавливаться над этим вопросом не пришлось: раздался колокол, призывавший нас на урок немецкого языка.



Мария Павловна Леонтьева (1792–1874) – начальница Смольного института благородных девиц в 1839–1875 годах, статс-дама российского императорского двора. Художник – В. Гау

За солидным немцем, отрастившим себе порядочное брюшко и неторопливо приближавшимся к скамейкам, нервной и стремительной походкой вошел в класс Ушинский. Он поклонился, попросил воспитанниц, сидевших на последней скамейке, подойти к его столу и приказал одной из них открыть книгу, но не на том месте, где был заданный урок, а на несколько страниц вперед, и переводить. «Мы этого еще не учили...» –

получил он в ответ. Но Ушинский заявил, что он желает знать, как воспитанницы переводят *a livre ouvert*^[25]. Из страницы, прочитанной каждою, одна могла перевести два-три слова, другая несколько больше, а третья решительно ничего не знала. Когда же он предложил передать по-русски своими словами только что прочитанное, ни одна из нас ничего не могла ответить, никто не понимал даже, о чем идет речь.

На вопрос, сделанный учителю, сколько у нас в неделю уроков немецкого языка и сколько лет мы учимся, он отвечал, что уже шестой год и что мы имеем по два урока в неделю. На это инспектор заметил:

– Вычитая каникулы и бесконечное число праздников, воспитанницы учатся, во всяком случае, не менее месяцев семи, следовательно в году имеют по крайней мере пятьдесят шесть уроков... Ведь если бы они выучивали в каждый урок только несколько слов и на эти слова делали упражнения и переводы, то подумайте сами, какой громадный запас слов они приобрели бы в двести восемьдесят ваших уроков! Между тем воспитанницы не понимают даже смысла прочитанного, хотя текст оригинала простой и легкий.

Учитель оправдывался тем, что вызваны были плохие ученицы, но еще более подчеркивал то, что в институте все внимание обращено на французский язык, что воспитанниц заставляют разговаривать по-немецки очень редко, да и то для проформы, и указывал на то, что сами они терпеть не могут немецкого языка.

Ушинский возражал, что для того, чтобы заставить воспитанниц полюбить немецкий язык, он, учитель, должен был отчасти читать, а отчасти сообщать им содержание лучших произведений Шиллера и Гете.

– О господин инспектор! – насмешливо-добродушно отвечал немец. – Уверяю вас... хотя они и в старшем классе, но ничего, решительно ничего не поймут в сочинениях этих писателей и не заинтересуются ими.

На это Ушинский заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.

Так как учитель в свое оправдание указывал на то, что инспектором были вызваны плохие ученицы, Ушинский предложил ему вызвать самых лучших и начал внимательно вслушиваться в их чтение. Когда одна из них начала бойко переводить, Ушинский заметил ей, что хотя она прекрасно понимает прочитанное, но по-русски выражается неправильно, и указывал ей, как нужно переводить то или другое немецкое выражение.

Когда мы поближе познакомились с Ушинским, мы заметили, что он так уходил в дело, – все равно, читал ли он лекцию или слушал наши ответы, – что не видел и не слышал, что происходило вокруг. Но когда что-нибудь внезапно нарушало тишину, он вздрагивал, резко делал замечание нарушителю ее, не обращая ни малейшего внимания, к кому оно относилось, – к воспитаннице, учителю или к классной даме. Так было и в этом случае. Дежурная дама, m-lle Тюфяева, внезапно с шумом отодвинула свой стул, встала со своего места, подошла к скамейке и начала что-то вырывать из рук одной воспитанницы. Как только она скрипнула стулом, Ушинский быстро поднял голову и стал пристально всматриваться в нее, точно не понимая в первую минуту, что его отвлекло от дела. Но когда у нее завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко закричал: «Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок!» И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая занятия. Тюфяева побледнела, но промолчала, может быть, от неожиданности. С институтской точки зрения замечание Ушинского, как по форме, так и по существу, могло считаться возмутительною дерзостью. Наши инспектора и учителя разговаривали с классными дамами не иначе, как с величайшим почтением. Если же приходилось о чем-нибудь их попросить или сделать самое ничтожное замечание (то и другое случалось крайне редко), то они обращались к ним, наклонив голову и с приятною галантностью: «Mademoiselle N, простите

великодушно, если я решаюсь вас беспокоить...» и т. п. А новый инспектор только что показался, и уже смеет кричать на нее, заслуженную классную даму, как на последнюю горничную! Между тем Ушинский, сделав ей такое неподходящее, по институтскому этикету, замечание, моментально забыл о ее существовании.

– Вы, кажется, немка? – спросил он у воспитанницы, которая только что переводила с немецкого на русский. Получив утвердительный ответ, он узнал и от двух других воспитанниц, прекрасно ответивших на все его вопросы, что они хотя и русские, но дома говорили больше на немецком, чем на родном языке.

– А, вот что! Значит, эти первые ученицы знанием языка обязаны семейству, а не учебному заведению! – сказал Ушинский, обращаясь к учителю, поклонился и повернулся, чтобы уходить, но Тюфяева загородила ему дорогу.

– Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурируем в классе по воле нашего начальства... что мы... что я... я высоко чту мое начальство...

– Если вы уже обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, то, по крайней мере, должны сидеть тихо, не скрипеть стулом, не шмыгать между скамейками, не вырывать бумаги у воспитанниц, не отвлекать их внимания от урока... Понимаете? – резко перебил ее Ушинский.

– Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет... мне, милостивый государь, седьмой десяток... да-с, седьмой десяток... я не привыкла к такому обращению... Это все, все будет доложено кому следует.

– Если вы дежурите с такой определенной целью, то и исполняйте ваши священные обязанности!.. – С последними словами он вышел из класса.

Тюфяева возвратилась на свое место, но была так взволнована, что не брала даже чулка в руки, который она обыкновенно вязала; горько покачивая головой, она вдруг расплакалась и направилась к выходу. Воспитанницы в первый раз остались в классе с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент: он вдруг встрепенулся и, по заведенному порядку, начал вызывать учениц одну за другой. Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала со своего места и, прикрывая рот и нос платком (указывая этим, что у нее кровь идет носом), смело вышла из класса, но не в ту дверь, в которую ей надлежало выйти для этого. Мы поняли, что она отправилась «на разведки». Нам тоже не сиделось: мы чувствовали сильнейшую потребность обсуждать происшедшее, а между тем приходилось ждать до звонка, мало того, необходимо было запастись терпением и на весь обед, так как в это время не очень-то удобно было болтать. Немец не обращал ни на что внимания, и мы то и дело оборачивались по сторонам: одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукою, выражая этим, что у нее бог знает что там творится, другая била себя в грудь и закатывала глаза, – это означало, что у нее разрывается сердце от муки из-за того, что приходится так долго молчать.



Смольный институт. Чаепитие с гостями. 1889 г.

В столовую мы спустились без классной дамы. Когда мы шли по парам, Ратманова незаметно присоединилась к нам и сидела за обедом, загадочно улыбаясь. Подруги то и дело подталкивали ее соседок, умоляя их выспросить ее о том, что она успела узнать. «Удалось ли что-нибудь?» – спрашивали ее. Гордо подняв голову, она отвечала, что неудачи преследуют только трусих и идиотов.

Наступил конец и нашим страданиям. Когда мы возвратились в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла в свою комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, воспитанницы кричали, перебивая друг друга:

– Это какой-то ужасающий злец!

– Просто невежа!

– Не конфузится сознаться, что у него денег нет даже на покупку шляпы!

– Неправда, и опять неправда! – смело выскочила на его защиту воспитанница Ивановская^[26]. – Ушинский... это, прежде всего, человек неземной красоты!

– Не ты ли облила его шляпу духами?

– Я не могла этого не сделать!.. Спускаюсь утром на нижний коридор и вдруг вижу – входит... Меня точно стрела пронзила! Я так была поражена его красотой!.. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто, – одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он был под рукой.

Воспитанницы, однако, не одобрили поступка Ивановской. Хотя почти каждая из них делала то же самое, но в данном случае они ссылались на то, что стоило только взглянуть на Ушинского, и каждая должна была бы понять, что он не оценит такого внимания. Хотя это суждение высказывалось *post factum*^[27], но с ним все согласились, судили, рядили, и все-таки никто из нас не мог сообразить, почему Ушинский так обозлился только за то, что его

одежду облили духами. Нашим учителям это, обыкновенно, очень нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Особенно возмутило нас в Ушинском, как величайшая неблаговоспитанность с его стороны, что он осмелился кричать на нас, взрослых девиц, а также и то, как он разговаривал с m-lle Тюфяевой. Конечно, мы все были до невероятности счастливы, что он ее так «отбрил» и «унизил», но многие находили, что хотя она и классная дама, следовательно, гнусное существо, но все же она дама вообще, а каждый образованный мужчина должен относиться к даме по-рыцарски, с утонченную любезностью и почтением.

– Он не только невоспитанный человек, но и форсун!

– Он не форсун, а хвастун!

– Верно, верно! Постарался блеснуть перед нами даже знанием таблицы умножения! Он воображает, что мы без него не сумеем помножить число недельных уроков на семь месяцев!

– А ведь ты бы не сумела! – вдруг зацепила одна другую. Но на них моментально зашикали за то, что они своими глупостями мешают говорить о серьезных вещах.

– Он, наверно, прогонит нашего немца! – кричали некоторые.

– Ого, руки-то короткие! Не сегодня-завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда!

– Много вы понимаете! Он сам может вышвырнуть целую дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский – это такая силища!.. Такая!.. Это просто что-то невероятное!.. – говорила Ратманова.

– Какая там силища! Наглый человек, вот и все тут! – возражали некоторые.

– Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними!.. Жалкие вы созданы, даже просто, можно сказать, стадо баранов! – вдруг отрезала Ратманова.

Страшная буря негодования поднялась против нее и, вероятно, окончилась бы тем, что многие жестоко перебранились бы между собой и, уже наверно, большая часть воспитанниц перестала бы разговаривать с нею на неделю-другую, но на этот раз все охвачены были новым, не испытанным еще настроением: хотелось обсуждать происшедшее, узнать как можно более новостей об инспекторе. Сознывая, что Ратманова обладает хорошою памятью и, будучи весьма толковой и неглупой, умеет точно передавать слышанное, воспитанницы упрашивали друг друга прекратить перебранку и умоляли свою оскорбительницу рассказать все, что она узнала. В другое время Ратманова не упустила бы случая «поломаться», но в эту минуту ее охватило сильное желание говорить, ее всегдашнее стремление «пофигурять» (так мы определяли ее желание первенствовать) взяло наконец верх над остальными ее соображениями, и она передала следующее.

По выходе из класса она, прежде чем завернуть за угол коридора, заметила прогуливающих и разговаривающих между собою инспектрису и Ушинского. За углом ей все было слышно, но первой части разговора она не застала. Она пришла, когда Ушинский рассказывал m-me Сент-Илер о своем столкновении с Тюфяевой, но, не зная ее фамилии, он так характеризовал ее: «Знаете, такая дряблая старушонка... хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что живет очень долго... Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценится только тогда, когда она полезна ближним, да не стоило терять времени с этой скудоумной головой! Но так как она грозила донести своему начальству, то я и предупреждаю вас об этом».

Инспектриса, по мягкости своего характера, просила его о снисхождении к классным дамам, указывая на то, что некоторые из них действительно не блещут своим образованием, но где же взять образованных?

Ушинский указывал, что если бы при приеме классных дам руководились правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих только «кадить всякой пошлости», то при старании, конечно, можно было бы найти подходящих...

– «Кадить всякой пошлости!»! «Кадить всякой пошлости!»! Какое чудесное выражение! – подхватывали мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.

– А что еще он сказал! – продолжала Ратманова. – «Нужно, говорит, создать иные условия для приема воспитанниц и *скорее выбросить весь теперешний старый хлам...*»

– Какой он умный! – всплеснули мы руками в восторженном изумлении.

– Не мешайте же слушать! – зывали другие, боясь проронить хотя слово Ратмановой, которая продолжала передавать его разговор с инспектрисой.

– Выбросить старый хлам служащих, и сделать это как можно скорее необходимо уже потому, – говорил Ушинский, – что теперешние классные дамы притупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца.

– Притупляют умственные способности и озлобляют сердца! – повторяли мы, как молитву, за Ратмановой. Вообще в Ушинском нас на первых порах поражали не только его ум и находчивость, но, кажется, более всего слова и выражения, так как, кроме официальных, обыденных слов, мы до тех пор ни от кого ничего подобного не слышали.

– Инспектриса отвечала ему, что она, хотя и с большим трудом, может еще представить себе, что при приемах классных дам будут более, чем теперь, обращать внимание на их умственное развитие, но никогда, она за это ручается, ни одна начальница института не согласится на то, чтобы оставлять воспитанниц в классе с глазу на глаз с учителем. Это немисливо уже потому, что идет вразрез со всем характером институтского воспитания, и такой обычай, по ее мнению, имеет основание: учитель во время урока занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не занимались посторонним.

«– О, когда начнут занятия новые учителя, они сумеют настолько заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним...»

– Вы, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт?

– На идеальный не рассчитываю, но если бы я не верил в то, что мне удастся оздоровить это стоячее болото...»

– Ах ты боже мой!.. Душка, Маша, неужели он так-таки и сказал: *стоячее болото*? Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт! Маман должна была его оборвать тотчас же. Ну, говори, говори, что же на это инспектриса?

– Ни гугу! Да разве он только это говорил! Он вот еще что загнул: «Я, говорит, до сих пор думал только о том, как бы получше поставить преподавание, но те немногие дни, которые я провел здесь, показали, что мне придется вмешиваться и в некоторые стороны воспитания... Если не будут уничтожены многие безнравственные обычаи, развращающие воспитанниц, они будут мешать их правильному развитию.

– Что же безнравственного вы нашли в наших обычаях?

– Но разве не безнравственно заставлять учениц снимать пелеринки перед приходом учителя? Ведь в послеобеденное время я сам видел, что они сидят в пелеринках, значит, тут дело идет не о том, чтобы приучать к холодной температуре...

На это маман весело расхохоталась.

– Помилуйте, вы хотите не только перереформировать наш институт, но перереформировать всю жизнь женщины вообще, изменить даже все людские отношения! В таком случае вам придется восставать и против балов, на которые девушки являются декольтированными.

Ушинский не уступал и тоже весело смеялся.

– Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь... Но согласитесь сами: ведь с обнаженными плечами на балы являются для того, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки! И вдруг здесь с раннего возраста приучают девушек оголять себя!.. Всеми силами буду добиваться уничтожения этого неприличного обычая».

– Но тут колокол прервал их беседу, и madame Сент-Илер от всего сердца пожелала ему перестроить институт на идеальных началах, хотя сильно сомневалась в удаче; он тоже задушевно пожелал ей всего лучшего. Характер их беседы не носил ничего официального: они называли друг друга по имени и отчеству, разговаривали просто и дружески.



Преподаватели Смольного института в учительской комнате. 1889 г.

Колокол призывал и нас к чаю, хотя души наши рвались обсуждать без конца небывалые новости. До сих пор никто, ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же оживленно болтали мы и после чаю, когда пришли в дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились на нескольких кроватях. И на этот раз каждая спешила высказать свое мнение. Мы совсем не были подготовлены ни к самостоятельному мышлению, ни к критическому анализу. Мысли наши были какие-то коротенькие и несложные, высказывались отрывочно и непоследовательно. Наши чувства и выражения были не только стадными, но часто извращенными, язык наш страдал однообразием и бедностью выражения, запас слов был крайне невелик. Но как бы то ни было, наша мысль зашевелилась впервые, нас охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки пылали, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь к кроватям при каждом шуме из комнаты классной дамы.

– Он просто отчаянный какой-то! – было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно, почуяли в его личности что-то сильное, крупное и оригинальное. Эпитет отчаянного, который ему давали, польстил «отчаянным»: то одна, то другая обращала внимание подруг на то, что отчаянность уже вовсе не такой порок, как у нас принято думать. Вот он отчаянный, а между тем очень умный и, кажется, даже хороший: сейчас раскусил, что Тюфяева дрянь, а немец плохой учитель. Но не все соглашались с этим определением: умные и хорошие люди, утверждали они, непременно в то же время люди благовоспитанные, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другие в число его преступлений заносили и то, что он осмелился назвать наш институт «стоячим болотом», а «всем известно, что это первоклассное заведение». Более всего трепались в институте выражения: «все говорят» и «всем известно», – они казались многим сильнейшим подтверждением сказанного.

– А что в нем хорошего, в этом вашем институте? – с лицом, пылающим гневом, выскочила Ратманова. – Пусть говорит каждая все хорошее, что знает о нем!.. Разве то, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что нашими воспитательницами были даже сумасшедшие, что мы ни в ком не находили защиты, что мы ни от кого не слышали доброго слова? Ах, молчите, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением, или, лучше сказать, с вашей первоклассною чушью и тупостью! – И действительно, все замолчали, сознавая справедливость ее слов.

– А все-таки он странный! Как это он не понимает, что ничего нет дурного в декольтировании? Это только красиво! Ведь если бы это было пошло и неприлично, то во дворцах и в аристократических домах на балах не являлись бы с голыми плечами? – Этот довод показался настолько веским и убедительным, что все присоединились к нему. Но тут же некоторые старались оправдать непонимание Ушинским таких простых вещей тем, что он, вероятно, очень ученый, сильно заучился, а потому и ничего не смыслит в жизни, особенно же в красоте.

– Небось очень понял, что татап красива, а Тюфяева урод: он потому-то так и накричал на нее, а с красивой татап у него и дружеские разговоры.

– Не то, не то... – возражали ей. – Тюфяева идиотка, а татап умна и умеет всех очаровать. Да он скоро и ее раскусит!.. Что-то будет завтра? Ах, если бы он подольше у нас остался! – восклицали воспитанницы, но тут же единогласно высказывали твердое убеждение, что ему у нас несдобровать.

Через несколько дней после описанных событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского, который преподавал во всех младших классах. Это был человек сухой, как скелет, длинный, как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами, с коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. Самое неприятное в этом преподавателе было то, что он при своем чтении и объяснении брызгал слюною во все стороны, отчего сильно страдали воспитанницы, близко к нему стоящие. Его урок делился на две части: первую половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, требуя, чтобы ее отвечали слово в слово, ничего не пополняя, не изменяя и не сокращая в ней. Диктантом он никогда не занимался, как будто не имел даже представления, что это следует делать, и дети разучились бы писать, если бы он не задавал списывать и выучивать басню за басней Крылова.

Самая характерная часть урока наступала тогда, когда Соболевский приказывал отвечать басню. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал, как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах: лису, согнувшись в три погибели, до невероятности скашивая свои и без того косые глаза, слова произносил дискантом, а чтобы напомнить о ее хвосте, откидывал одну руку назад, помахивая ею сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Когда дело шло о слоне, он

поднимался на носки, а на длинный хобот должны были указывать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по зверю, он то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами, оскаливал зубы.

Ушинский вошел на урок как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню «Слон и моська». Когда он произнес слова: «Ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться», он старался все это драматизировать более, чем когда-нибудь. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания, но, чтобы прекратить комедию, наконец сказал: «Я буду диктовать». Когда после этого он просмотрел несколько тетрадей, то заметил, что некоторые воспитанницы делают в словах больше ошибок, чем букв, кивнул головой и вышел.

Оба они встретились на нижнем коридоре, и Ушинский заметил:

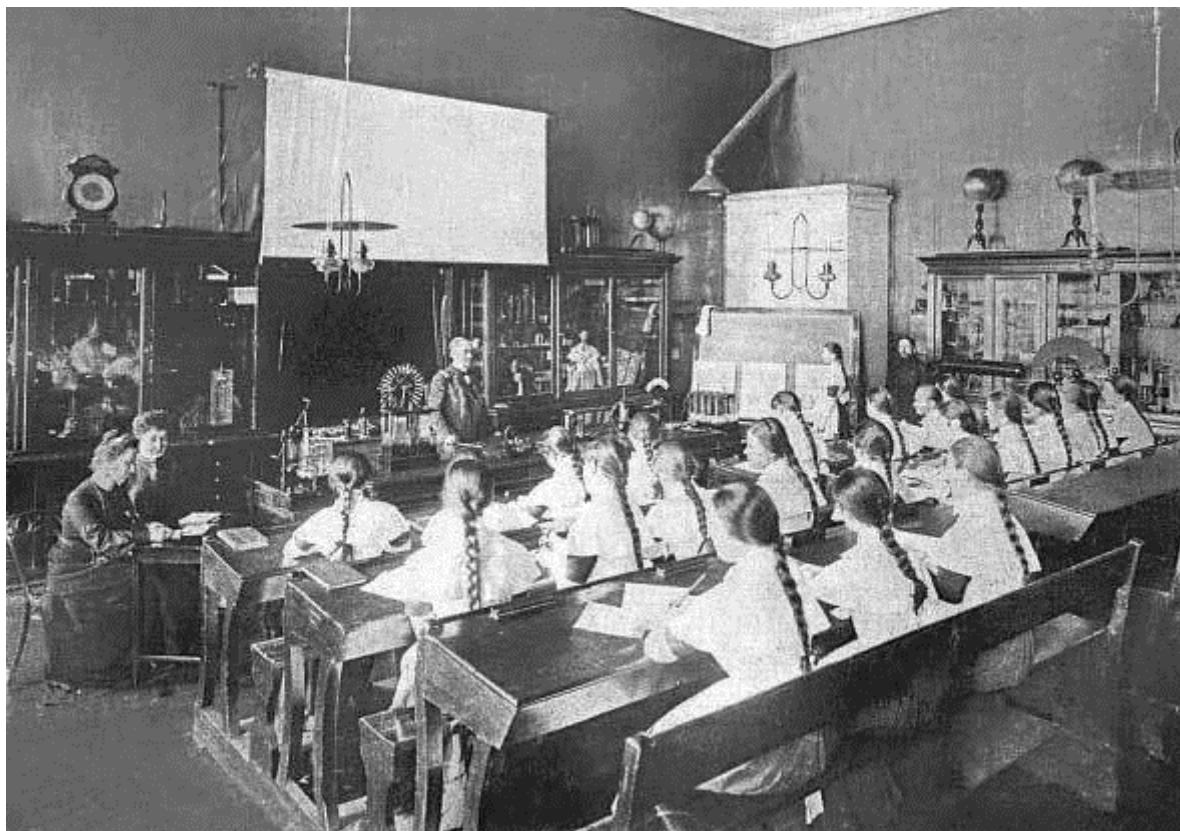
– Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас уже выходит целое представление... Так кривляться даже как-то унижительно для достоинства учителя.

Соболевский и тут не понял, что эти слова – его приговор, и отвечал, что он с трепетом будет ожидать окончательного решения г. инспектора. Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Соболевский нашел их и уже нагнулся, чтобы подать их ему, но Ушинский со злостью вырвал их у него и произнес с запальчивостью:

– Лакей на кафедре – уже совсем неподходящее дело!.. Это мое окончательное решение!

– «Лакей на кафедре»! «Лакей на кафедре»! – повторяла одна воспитанница другой. – Господи, какие у него все чудные выражения! Знаешь, душка, я сейчас сошью маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения...

Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинский урока нашего учителя литературы и словесности Старова, который считался у нас лучшим преподавателем. Мы тщательно готовили его уроки, а потому наперед праздновали победу.



На уроке.

«Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание всякого плодотворного учения»

(Константин Ушинский)

Старов по натуре был человек порядочный, мягкий, добросердечный и обязательный. Он пользовался всеобщим расположением. В то время как мы считали минуты, когда окончится урок того или другого учителя, мы заслушивались Старова и каждый раз с нетерпением ожидали его урока. Мы проходили у него теорию прозы и поэзии, а также и литературу. Как у большинства других учителей, мы не имели и для его курса никакого учебника. Руководством для этого предмета нам служили листки, составляемые Старовым, которые мы из любви к учителю заучивали очень твердо и переписывали особенно изящно. Нужно сознаться, теория прозы и поэзии Старова была образцом самых нелепых определений, громких, напыщенных фраз, отрывочных сведений, не приведенных в систему. Но мы тогда не понимали этого и более других предметов любили учить уроки Старова, так как они были испещрены словами: «высокое», «прекрасное», «эстетическое», «идеал», и отрывками из произведений в стихах и в прозе, которые Старов, по нашему мнению, читал нам в совершенстве. Читал он несколько гробовым голосом, сопровождая чтение классическими жестами, но нам это чрезвычайно нравилось. В стихотворениях нас увлекала музыка и мелодичность стиха, в прозе – возвышенные выражения, и хотя до смысла мы не додумывались и наш учитель не объяснял нам его, но все же это нас увлекало более, чем сухое заучивание грамматики. Отрывки из теории прозы и поэзии Старова нам очень мало давали и потому, что они были слишком отрывочны и служили пояснением мало для нас понятного определения какого-нибудь рода поэзии или прозы. Так же проходили мы у него и историю литературы. В его записках в хронологическом порядке были названы все произведения автора, с несколькими страницами объяснений при наиболее крупных из них. Сами мы никогда не читали ни одного произведения знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществлялась в том или другом художественном образе. Несмотря, однако, на все это, Старов был самым лучшим и даже единственным искренно любимым учителем. В то время когда остальные учителя держали себя с нами хотя и вежливо, но официально, он один неизменно относился к нам с самым теплым участием. К тому же он так возвеличивал, так идеализировал женщин вообще, а это, конечно, не могло не льстить нам.

– Женщина, – слышали мы чуть не на каждой его лекции, – самое возвышенное, самое идеальное существо! Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду, поселить любовь, внушить уважение... Только женщина может примирить человека с жизнью! Только красота женщины, ее грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску, тяжесть одиночества.

Мы, конечно, не имели ни малейшего представления, каким образом мы можем разгонять тоску одиночества, как мы будем обновлять мир и зачем его обновлять, ни малейшего понятия не имели мы и об идеалах, какие нам предназначено внести в мир, но все же из этих слов нам было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.

Добрая натура Старова не выносила официальных отношений: встречая на коридоре толпу всегда поджидавших его девиц, он не только радушно со всеми раскланивался, но, замечая облачко на чьем-либо лице, нежно произносил: «Что затуманилась, зоренька ясная»^[28] или что-нибудь в этом роде, всегда с экстазом декламируя множество стихов и вне классов, и во время уроков.

– Ах, monsieur Старов, – говорит ему одна воспитанница, – я сегодня буду наказана. – И она откровенно рассказывает ему, за что ей придется вынести наказание, и кем оно назначено.

Старов, как стрела, бросается к классной даме и, хватая ее за руки, со слезами на глазах, начинает ее умолять простить воспитанницу.

– Вы добрая, прекрасная, хорошая. Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа, как женщина, жить злое чувство!.. Нет, это невозможно! Карать... казнить... и кого же?.. Такое юное, такое невинное существо!.. Возможно ли казнить юность за ее увлечения? Прощать, прощать – вот назначение женщины! Клянусь вам, прощающая женщина – это... это... ангел в небе! Нет, я не уйду отсюда! Я вымолю у вас прощение! Я стану перед вами на колени!

Опасаясь, что Старов приведет это в исполнение, и польщенная прекрасными эпитетами, которые ей едва ли когда-нибудь приходилось слышать от мужчины, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его желание. «Ах вы, чудак! Добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо, для вас я прощаю», – и она немедленно подзывала провинившуюся воспитанницу и громогласно объявляла, что прощает ее для г. Старова... Все садились за урок в самом добром, мирном настроении.

Начальство смотрело на Старова как на очень вежливого человека, прекрасного учителя, прощало ему его экстаз и эксцентричные выходки и нисколько не мешало нам, воспитанницам, окружать его толпою на коридоре, так как отлично знало, что характер его разговоров и вне классов, и на уроках неизменно один и тот же. И действительно, Старов везде был одним и тем же незлобивым, восторженным человеком, легко приходившим в экстаз, по-видимому, часто даже без малейшего для этого повода. Вследствие своей ограниченности он как учитель не мог принести нам особенной пользы, но зато не сделал никому не только ни малейшего вреда, но и какой бы то ни было неприятности. Восторженность его положительно была беспредельна: когда знаменитый артист Олдридж давал в Петербурге свои представления и публика во время антракта вызывала его, Старов пробрался на театральные подмостки, бросился перед ним на колени и поцеловал его руку^[291].

Итак, мы считали Старова не только симпатичнейшим из людей, но и замечательным преподавателем, и не находили ни малейшего пятнышка в его преподавании. Когда в первый раз после назначения Ушинского мы поджидали Старова на урок, мы вышли встретить его целой толпой. При его появлении мы тотчас начали рассказывать ему все «выходки» нового инспектора.

– Несомненно, – говорил Старов грустно и задумчиво, – такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво... Но зачем же такая резкость тона, за что оскорблять! Он человек семейный, бедняк, неразвитой, конечно, но совсем не злой...

Когда мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:

– Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочивать этот... грубый материализм! – И затем, несколько помолчав, он добавил уже совсем печально: – Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!

– Ну, уж этому не бывать! – закричали мы в один голос. – Если он вас не сумеет оценить... он, значит, уж совсем невежда! Мы все тогда восстанем! Мы ни за что этого не допустим!

Старов обводил толпу институток восторженными глазами, которые без слов говорили: «прелестные создания», затем, раскачиваясь из стороны в сторону, как это всегда с ним бывало перед какой-нибудь наиболее восторженной импровизацией, он начал:

– Вы не знаете, что творится в мире! О, как прелестны вы вашим неведением! Не теряйте его, этого лучшего сокровища юного сердца!

Но мы перебили его, желая во что бы то ни стало с его помощью хотя несколько уяснить себе загадочный характер нового инспектора.

– Monsieur Старов, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение об Ушинском... Вы сказали... грубый материализм... Что это означает? – приставали мы к нему.

– Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю господина Ушинского. Слышал, конечно... Как бы это вам объяснить... Видите ли... В большом ходу теперь новые идеи... Конечно... многие из них заслуживают полнейшего уважения... Мне говорили, что Ушинский... в высшей степени образованный человек... Он, говорят, поклонник новых идей! Что ж!.. Нам, старикам, по правде сказать, и давно пора очищать место для новых людей, для новых идей!

Звонок прекратил наши расспросы, заставив нас опрометью бежать в класс. Мы не успели еще рассестись по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся со Старовым.

– Вам угодно будет экзаменовать девиц? – обратился Старов к Ушинскому.

– Нет! я буду вас просить продолжать ваши занятия. Старов начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пушкине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала.

– Очень твердо заучено... – заметил Ушинский. – Но вместо «фразистых слов учебника» (о ужас! эти, как он называл, «фразистые слова учебника» были записки самого Старова) расскажите мне содержание «Евгения Онегина»!

Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не существует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и тот же день читает нередко в двух-трех заведениях.

– В таком случае я совсем не понимаю преподавания литературы! Вы обращались по этому поводу с запросом к администрации заведения?

– Дело здесь испокон века так ведется... Забота о библиотеке – не мое дело...

– Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь встать...

Никто не двинулся с места.



Смолянки на катке. 1889 г.

«Вечно не стареющее детство души есть глубочайшая основа истинного самовоспитания»
(Константин Ушинский)

– Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знаете? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермонтова, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как, ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального произведения! Да ведь это, знаете, что-то уже совсем баснословное! – Ушинский не получал ниоткуда никакого ответа и, все более горячась, обращался то к воспитанницам, то к учителю. – Но чем же набит ваш шкаф? – И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями; две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг^[30], Евангелием и несколькими дюжинами разнообразных учебников. Пожимая плечами, нервно перелистывая учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут молча простоял у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место. – Что ж, потрудитесь продолжать занятия, – сказал он как-то вяло, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.

– Какие тут занятия! – обиженно процедил сквозь зубы Старов, однако вынул из портфеля один из томов Пушкина и начал читать стихотворение «Чернь»^[31], с каждой строчкой приходя все в больший экстаз. Последнее четверостишие:

Не для житейского волненья.
Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв... —

он читал, уже вскочив с места, с воспаленными глазами, голосом, прерывавшимся от волнения и выражавшим все ядовитое презрение, какое только могло накопиться в этой

доброй душе ко всем поборникам материализма, не умеющим ни понимать, ни ценить небесных вожделений и поэтических восторгов.

– Но ведь воспитанницы незнакомы еще и с более капитальными произведениями Пушкина... – заметил Ушинский. – Впрочем, продолжайте... Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?

– Что же тут объяснять! Они отлично все понимают... У этих девушек весьма сильно развито художественное чутье...

– Ого, даже художественное чутье!.. А чем бы, кажется, оно могло быть развито при таких условиях, – сказал Ушинский, не скрывая иронии, и, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта девица, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали с напряженным вниманием.

Тогда в дело вмешалась инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов замечательный преподаватель, что воспитанницы чрезвычайно любят его предмет и много над ним работают, но в данную минуту они очень переконфузились и потому не могут отвечать.

– Может быть, может быть, – недоверчиво улыбаясь, отвечал Ушинский. – Попробуем объясниться письменно! Пусть одна из воспитанниц вслух раза два прочтет стихотворение, и затем, девицы, потрудитесь своими словами письменно изложить прочитанное. – И он вышел в коридор.

Наша письменная работа оказалась в высшей степени бестолковою: у одних она представляла шумиху напыщенных фраз, не имеющих между собою элементарной логической и грамматической связи, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот, и при этом у тех и у других немало было крупных орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.

Мы скоро пришли к убеждению, что новый инспектор не уволит нашего общего любимца Старова только в том случае, если мы выступим на его защиту. Мы предполагали, что, когда ученицы очень хвалят своего учителя, каждый обязан понимать, что при этом уже нельзя усомниться в его педагогических талантах. И мы решили защищать его до последней капли крови.

Нельзя сказать, чтобы мы не сознавали всей трудности задачи говорить с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но нам казалось, что уклониться от этой обязанности было бы величайшею низостью.

Как плохо, однако, мы были вооружены для этого! Если между нами и были поэтессы, то ораторов, даже плохоньких, совсем не существовало. Мы наивно выражали наши детские мысли, не умели выделить главного от мелочей и при этом страшно сконфузились всех, а тем более Ушинского. Но для любимого Старова никакая жертва не была тяжела. Мы условились между собою, что одна из нас во всем блеске выставит необыкновенную доброту Старова, другая укажет на его таланты, видимо, совсем неизвестные «господину инспектору».

Мы бросились к нему, как только он показался в коридоре.

– Monsieur Ушинский! – кричали мы, окружая его.

– Ах, пожалуйста, не называйте вы меня monsieur! Чересчур официально! Константин Дмитриевич, да и все тут!..

Это неожиданное предложение так переконфузило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним беседовать.

– Что же вы хотели сказать? Ради бога, не конфузьтесь! Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно... И не очень сердитесь за мою резкость, за мой, может быть, не совсем вежливый тон... Работы у меня гибель, я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которую можно было бы закруглить, смягчить то, что хочешь сказать... Ну, в чем же дело?

Мы толкали ту, которая должна была начинать, но она могла только проговорить:

– Вы недовольны Старовым! Ведь он же не виноват, что нам не дают книг! Вы его совсем не знаете!.. Он такой добрый!.. Просто даже чудный человек!

– Правда, правда: незлобивый, даже весьма недурной человек, но, к сожалению, этого еще очень мало для преподавателя...

– Вы, должно быть, не знаете, что он поэт! Даже очень знаменитый поэт! – лепетала Ивановская, обязанностью которой было выставить его таланты.

– Не знал... не знал, что такой поэт существует! Да еще знаменитый! Гм... подите же!.. Какие же такие его произведения? Он уже, конечно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках только?

Ивановская пролепетала, что у него есть чудное стихотворение «Молитва». Ушинский в конце концов уломал ее продекламировать его, и она начала дрожащим голосом:

Как много песен погребальных
Еще ребенком я узнал,
И скорбный смысл их слов прощальных
Я часто юношей внимал.
Но никогда от дум печальных
Старое душой не унывал!
Создатель мира, царь всеильный.
Мне много, много подарил,
Когда веселостью обильной
Он трепет жизни домогильной
Во мне...

– Довольно... довольно! Это бог знает что такое! Ведь Старов уже много лет читает литературу в разных заведениях и мог бы понять, что в его стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать эту свою замогильную чепуху своим ученицам! Нет, воля ваша, это просто фразер и пустозвон!.. Не горюйте вы по нем... У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты... по-моему, и одного ума достаточно... так ваш будущий учитель в то же время и очень добрый человек...

– Чем же он лучше Старова? – спрашивали мы, удивляясь, что с Ушинским можно разговаривать.

– Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора.

– А как его фамилия?

– Водовозов.

– Ну, уж одна фамилия чего стоит! – выпалила, расхохотавшись, одна из нас, неожиданно даже для себя самой.

– Вы ошибаетесь, – запальчиво возразил Ушинский, решительно не переносивший не только ни малейшей пошлости, но и глупой остроты. – Он будет пригоден и для того, чтобы научить вас понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.



Василий Иванович Водовозов (1825–1886) – русский педагог, переводчик, детский писатель; муж Елизаветы Водовозовой

Переконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, воспитанницы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не умевших защитить Старова, и перекоряясь между собой. Хотя при этом сильно доставалось и Ушинскому, которого мы честили эпитетом «непроходимой злюки» за то, что он выгоняет даже добрых учителей, но

когда несколько успокоились, то некоторые начали высказывать, что незачем-де было цитировать стихи Старова, которые действительно уже вовсе не так прекрасны, забывая о том, что еще недавно они так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Это критическое отношение пошло и дальше: говорили, что хотя Старов и чудный человек и превосходно читает, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается. На это Ратманова закричала во все горло:

– Если бы сюда собрать всех мировых гениев прошлых, настоящих и будущих веков, все они вместе ни на йоту не просветили бы ваши дурацкие головы!

Поднялась страшная буря, – все набросились на Ратманову. На это как сумасшедшая вбежала m-lle Лопарева:

– Как вы имеете так орать? Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок.

Она перед этим с кем-то разговаривала в коридоре, куда сейчас же и выбежала.

– Не смейте подчиняться этому! Преспокойно садитесь, когда войдет учитель... – кричали некоторые.

И действительно, когда в класс вошла Лопарева, а за нею учитель, мы, несмотря на наказание, преспокойно уселись на свои места. Это был первый протест, устроенный сообща всем классом без исключения. Лопарева густо покраснела от злости, но не решилась пикнуть, вероятно, поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее сделаем скандал, чем подчинимся требованию.

Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но большая часть их оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы^[32].

Воспитанница старшего класса Аня Ивановская отправила однажды письмо к своему отцу через классную даму Тюфяеву, в котором она просила его прислать ей денег. Ответ получился через ту же даму, у которой была родственница, несколько знакомая с г. Ивановским; она приносила о нем разные сплетни m-lle Тюфяевой. Ивановский на этот раз отказывался исполнить просьбу дочери за неимением денег. Тюфяева, прочитав письмо и передавая его Ивановской при ее подругах, начала попрекать ее тем, что она научилась «нос задирать», а между тем у отца ее ничего нет; если же что и перепадает ему, то он предпочитает тратить деньги на театры, чем посылать их дочери. Из этого примера Тюфяева сделала общий вывод и начала обычную свою канитель на тему, что-де от них, классных дам, теперь требуют бог знает чего, даже каких-то нежностей с воспитанницами, которые для них совершенно чужие, а вот и отец родной, а нежностей к дочери и особых забот о ней не проявляет.

Зная необыкновенную вспыльчивость Ивановской, воспитанницы незаметно, но ловко выталкивали ее локтями в задние ряды, и она наконец выбежала в коридор. В эту минуту проходил Ушинский и с большим участием обратился к ней, спрашивая ее оказать ему маленькое доверие, сказать, почему она так грустна. Она объяснила ему, что воспитанницы обязаны переписываться с родителями не иначе, как через классных дам. Такое правило существует, и тут уже ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников. К тому же ее оскорбляет то, что m-lle Тюфяева воспользовалась письмом ее отца для того, чтобы попрекать ее теми сплетнями, которые она собирает о нем у своей родственницы, с умыслом искажает его слова, чтобы унижать ее и часами говорить свои опостылевшие проповеди.

Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что оно поможет ему обратить внимание на эту сторону жизни институток, что он поговорит об этом с кем следует и будет стараться уничтожить этот обычай. И действительно, мы узнали, что Ушинский со всей энергией, присущей его страстному темпераменту, говорил с принцем

Ольденбургским^[33], а также и на разных совещаниях о том, что обычай контролировать письма воспитанниц подрывает основы семейных уз и приучает их хитрить, лгать и обманывать. Развивая в воспитанницах рабские чувства, он не дает начальству возможности достигать единственной цели, к которой оно при этом стремится, то есть мешать воспитанницам передавать родителям что бы то ни было непочтительное о начальстве. Когда им необходимо снести с родственниками так, чтобы этого никто не знал, они умеют обходить это правило. Воспитанница, раздраженная тем, что не может по душе говорить со своими родителями, в своем секретном письме отделеет начальство так, как это ей не пришлось бы в голову, если бы ей не мешали быть откровенной с ними всегда, когда она того пожелает.

Однако Ушинскому, несмотря на красноречивые доказательства вреда этого обычая, не удалось его уничтожить, но он сильно ослабил его: в либеральную эпоху его инспекторства некоторые классные дамы начали передавать воспитанницам письма, не распечатывая их, — другие распечатывали лишь для проформы. Но, конечно, оставались и такие, которые не меняли своего поведения в этом отношении.

Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок носил характер живых бесед. Однако большинство нововведений, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, когда он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.

Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слышали о том, что он объяснял в других классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.

С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какой-нибудь глупостью с нашей стороны. Все искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфически институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным. Нам казалось уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило

об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем.

Мы узнали, что его педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором^[34], обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решила ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России.



Мемориальная доска на здании Сиротского института в Гатчине

Как-то, когда до выпуска оставалось всего несколько месяцев (тогда выпуски бывали в марте), ко мне подошел Ушинский и спросил:

– Не вы ли та воспитанница, которая вследствие падения с лестницы чуть не вдребезги разбила себе грудь и, испытывая жестокие боли, подвергая себя смертельной опасности, не пошла к доктору, опасаясь этим опозорить себя?

Я почувствовала в его вопросе иронию и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что это была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, тонкие, крепко сжатые губы которого так редко улыбались, разразился громким, веселым смехом, а мне это показалось каким-то оскорбительным издевательством, и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас невежеством.

– Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись?

– Каждая на моем месте поступила бы так же...

– Ну нет! Если даже у всех вас такие «идеальные убеждения», то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у такой девочки, как вы, такой характер, столько силы воли, она может употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам, вместо того чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных. Уверяю вас... почитаете, подумаете, поработаете головой и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.

Видя мои колебания, он добавил, что если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого еще много времени впереди.

Ушинский явился первым светлым лучом в царстве институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни. После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.

– Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди без исключения будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами, значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь если это верно, значит, все на свете перевернется!

– А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы – с нашими горничными...

– Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницей и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко...

– Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью, – это значит, что он ничего не накрал, а что большая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.

Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала голова.

Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина^[35] и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.

Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну, всегда запертую комнату. Наконец она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.

Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто никогда не показывал их воспитанницам. Ввиду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал, кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как немало дорогих вещей оказалось испорченными молью.

Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немислимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг «мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения, – так поразил всех доклад Ушинского об его находке. «Начальство увидало в этом чуть не перст божий, споспешествовавший мне в моих предприятиях», – смеясь, рассказывал он об этом.

Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.

Этот «музей» тоже внес в жизнь институток некоторое оживление. «Все видели вечно запертую комнату, однако никто не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее. Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает», – рассуждали мы, проникаясь все большим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него, как на что-то вроде мага и волшебника.

Мы то и дело бегали осматривать «музей», но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченные чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был запрещен до приведения его в порядок, то мы еще сильнее стремились заглянуть в него. Однажды две воспитанницы нашего класса, увидав, что Ушинский только что вышел из «музея», вбежали в него. Никого не заметив и рассматривая животных, расставленных временно на полу, одна из них, указывая подруге на зверька, утверждала, что то был соболь, другая настаивала на том, что это – куница. Вдруг из-за угла шкафа вышел молодой человек и проговорил:

– Ни то, ни другое, mesdemoiselles, – это только ласка... Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади? Правда?

– Какая дерзость! – закричала ему в упор одна из воспитанниц.

– Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому! – бросила ему другая.

– Ах, барышни, барышни! Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно!.. – со смехом возразил молодой человек, видимо, нисколько не испуганный их угрозою.

Девушки как ошпаренные выскочили из «музея» и чуть не со слезами передавали подругам этот эпизод. Мы долго обсуждали сообща, как бы проучить «нахала». Нам казалось это необходимым, так как в этом случае была затронута наша корпоративная честь. Но мы пришли к убеждению, что это немыслимо. Ушинский обыкновенно уходил и приходил вместе с молодым человеком (оставлять постороннего у нас не допускалось), и на этот раз он вышел, вероятно, лишь на несколько минут; следовательно, всякая «история» с нашей стороны причинила бы большую неприятность Ушинскому, и он мог бы посмотреть на это с очень нелестной для нас стороны.



Один из корпусов музея ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Это маленькое приключение имело большое влияние на мою личную судьбу. «Разве Ушинский не сдерживает порою улыбку, когда мы с ним разговариваем? Разве при наших рассуждениях с ним с его уст не срываются слова: “Как это странно, как это наивно!” А мой брат еще более бесцеремонно повторяет, когда я что-нибудь рассказываю ему об институтской жизни: “Как это глупо, как это пошло!” Да... над нами все издеваются, все смотрят на нас как на последних дур! Учиться, учиться надо!» – вот какие мысли обуревали теперь мою голову, вот что ясно и определенно сложилось теперь в моем уме.

В первый раз за всю мою институтскую жизнь я написала матери неказенное письмо: в нем я описывала появление у нас нового инспектора, оживление и волнение, которое нас всех охватило, предстоящие у нас реформы, устройство нового класса, в котором будут преподавать новые учителя, извещала ее о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это ее разрешения; об этом я писала и моему дядюшке.

Начались выпускные экзамены; подготовка к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества я решила, что, наверное, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбой, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она сформулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского: «Филологические наблюдения над составом русского языка».

Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписываемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила в тетрадь и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.

В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. Как диаметрально противоположны были по своему содержанию письма дяди и матери! Дядя писал мне, что мое желание остаться в институте весьма удобно для него и для его жены: ввиду того что моя мать не может взять меня к себе, я должна была бы жить в его семействе, а он находит меня слишком молодою для того, чтобы вывозить в свет и на балы. Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор, – прибавляла она, – ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье, как продолжение мною образования, вероятно, разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.

Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. Моя мать была особа энергичная и, долго не получая от меня ответа, могла еще ярче изобразить ему свое тяжелое материальное положение. Вследствие этого я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма моей матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. Я находила, что скрывать это от него было бы не только наглým обманом, но и совершенно лишним: мои занятия, конечно, скоро покажут ему отсутствие у меня умственных способностей. Как это ни странно, мне гораздо легче было сознаться в этом, чем в бедности, несмотря на то что Ушинский так открыто издевался над теми, кто стыдился ее. Стыд за свою бедность исчез у нас позже всех других недостатков и диких взглядов, усвоенных в институте.

Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгой Павского и с тетрадкой, в которой были отмечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же, и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услышала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбой, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради, – я пришла в отчаяние, но дело было сделано.

Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходиться в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадку... Что же... она в полном смысле полна “сердца горестных замет”!^[36] Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы за будущее мое обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.

Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии^[37], который уже отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницей того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал.

Выпускные экзамены окончены, а вот и выпуск. Церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие продолжать своего образования, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Недостает только крыльев, чтобы походить на ангелов. Теперь, когда институты сделались полужакрытыми интернатами, когда институтки, оставляя школьную скамью, имеют хотя какое-нибудь представление о жизни, они уже не могут испытывать при выпуске такого волнения, какое испытывали воспитанницы дореформенного периода. Некоторыми из них овладевал невообразимый страх за будущее, и они ожидали чего-то страшного сейчас, сию минуту, точно вот-вот их поведут на эшафот; другие твердо верили в какое-то сказочное счастье, которое сразу свалится на их головы, как только они переступят порог института. Каковы бы ни были их надежды, все они были крайне взволнованы, и это отражалось на их лицах: у многих стояли в глазах слезы; щеки, даже у бледных воспитанниц, горели румянцем. Еще вчера, в неуклюжем форменном платье, девушка не отличалась особенно милотовидностью, а сегодня, в рамке пышных белокурых или черных волос, она имела прелестный и грациозный вид. А я стояла тут же в своем форменном платье.



Торжественный выпускной бал в Смольном институте

«В конце концов всегда бывает так: если человек, не обращая внимания на предрассудки, твердо и уверенно идет к намеченной цели, – он достигнет ее».

(Елизавета Водовозова)

Безысходное отчаяние вдруг овладело мною. Мне сделалось невыразимо завидно и тяжело смотреть на подруг, навсегда оставивших институт, а я меняла возможную свободу на прежнюю кабалу и неволю. «Счастливицы! – думала я. – Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый колокол, вместо криков бранчивых дам их горячо прижмут к сердцу родные руки! Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего ученья, да и на что оно мне пригодится?» Я бросила взгляд на присутствующих в церкви: среди мужчин и пестро разодетых дам, родственников выпускных, резко выделялись стройные фигуры в белом, говорившие о чистоте, невинности и юной прелести. В углу я заметила серьезную фигуру Ушинского. У меня закипела злоба против него, как против человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это никакого внимания.

Когда я пришла в класс, он был совершенно пуст. Тоска одиночества, непоправимая ошибка, которую, как мне казалось, я сделала, добровольно оставшись в прежней тюрьме, письма матери и дяди в ответ на мою просьбу остаться – все представлялось мне теперь в новом, несравненно более мрачном свете, чем прежде. И я в отчаянии, упав лицом на пюпитр, рыдала, рыдала без конца. Вдруг я услышала позади себя торопливые, нервные шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я делаю, я в первую минуту молчала из боязни, что голос выдаст мои слезы.

– Чего вы вечно конфузитесь? – начал он, подвигая свой стул к моей скамейке и положив свой портфель на пюпитр. – Вы годитесь мне в дочери и могли бы без стеснения разговаривать со мною. Скажите-ка откровенно, ведь вам взгрустнулось потому, что не

удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и беленький кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно, да не смущайтесь вы, бога ради.

Я не только не намерена была смущаться, но почувствовала, что на меня напала даже «отчаянность», совсем исчезнувшая в последнее время. Я отвечала, что конфузиться не буду: все равно, он всегда издевается над нами...

Он отвечал, что такое мнение крайне для него прискорбно, но он все-таки надеется, что это только недоразумение. И он начал говорить о том, что вследствие оторванности нашей от жизни наши взгляды и выражения нередко оказываются действительно странными, иногда даже комичными... Очень возможно, что как-нибудь, слушая нас, он улыбнулся, но он не предполагал с нашей стороны такой обидчивости, такого недоверия к нему. Издеваться над кем-нибудь из нас здравомыслящий человек не может: мы не виноваты в том, что нас здесь ничему путному не научили, что нам привили дикие понятия... Наконец он спросил, что я делала с тех пор, как возвратилась из церкви, и получил в ответ, что ничего не делала. Он выразил удивление, как это можно целых два часа просидеть, ничего не делая, даже без собеседника, говорил и о том, что человек, серьезно предполагающий работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.

Злое, мрачное настроение охватывало меня все сильнее. Мне казалось, что я своими заметками о Павском, а теперь и своими ответами достаточно унизила себя в его глазах, что теперь мне уже нечего терять в его мнении, и стала высыпать перед ним все, что думала перед его приходом. Он ошибается, говорила я ему, предполагая, что я взволновалась из-за того, что не могла надеть белое платье. Я несравненно более пуста, чем он думает, и вовсе не желаю казаться лучше, чем есть. Так вот, я считаю своею обязанностью признаться ему, что прихожу в отчаяние от того, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает, а нередко кажется даже постылым. Да и к чему это учение? В ученые лезть я не собираюсь, а «синим чулком» называться не хочу.

– Да чего это вы из кожи лезете показать мне всю вашу институтскую пустоту? Раз вы уже более откровенны, чем это даже требуется в данном случае, то скажите по правде: вы, вероятно, думаете всеми этими словами уязвить меня, причинить мне боль? А между тем вы одна будете в накладе, если уедете с такой пустой головой... Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.

Этот ответ меня и переконфузил, и разобидел, и я, еле сдерживая рыдания, начала жаловаться ему на то, что теперь взять меня из института уже невыносимо. Моя мать не может приехать за мной, следовательно, я вынуждена буду жить в семье дяди, а он находит, что я слишком молода, чтобы вывозить меня на балы, точно я просила когда-нибудь его об этом. Несчастнее меня нет человека на свете! Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы выразить желание повидать меня, обнять родную дочь после долгой разлуки, только в восторг приходит от того, что я могу продолжать свое учение.

– Вы не имеете ни малейшего нравственного права так говорить о своей матери! Это, знаете ли, даже совсем нехорошо с вашей стороны! Я читал ее письмо к вам и сам получил от нее недавно письмо (я узнала потом от матери, что она благодарила его за хлопоты о стипендии для меня) и нахожу, что она на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, поцелуев, объятий и всех этих дешевых сантиментов она горячо высказывает одно желание – чтобы ее дочь была образованной девушкой, чтобы она училась и трудилась.

Мое злобное настроение против Ушинского как-то сразу рассеялось, и мне вдруг страшно захотелось узнать, что он ответит на один мой вопрос.

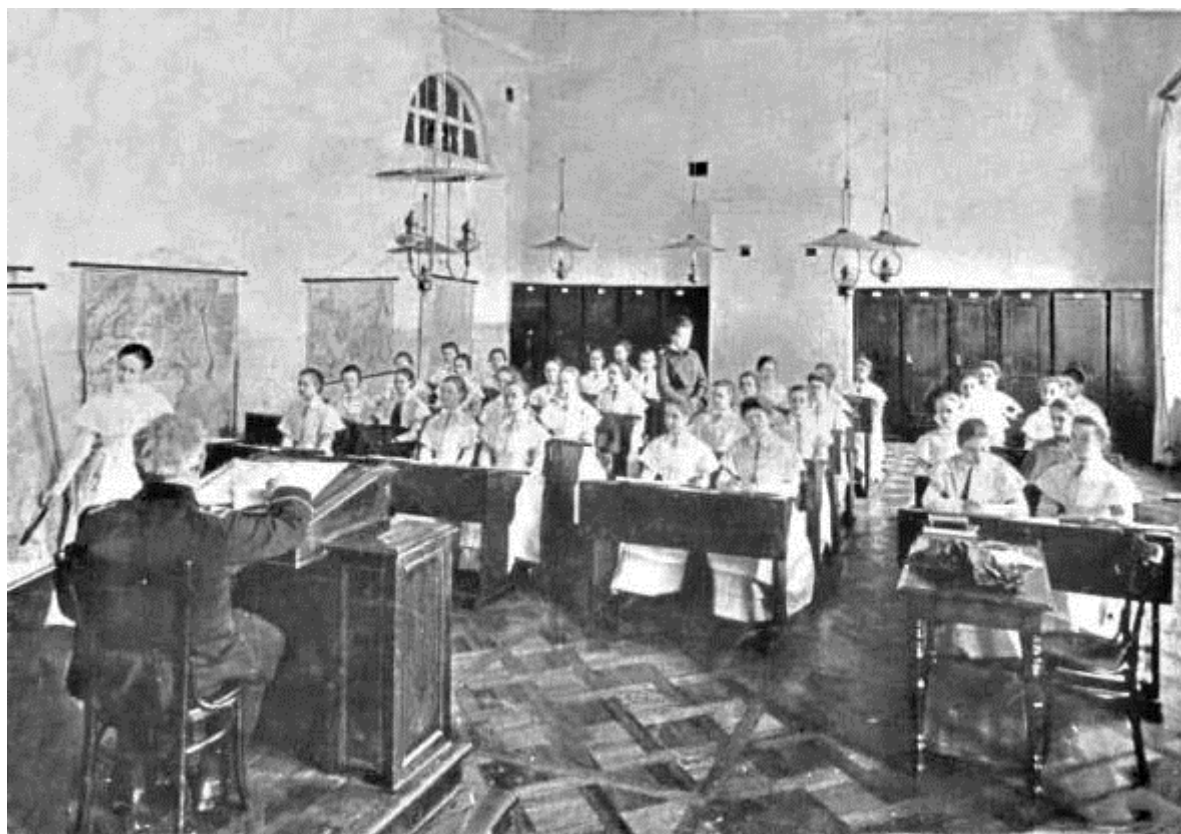
– Когда вы прочли письмо моей матери... (я вам отдала его по рассеянности). Она так превозносит вас... вы могли подумать, что она к вам подлизывается...

Ушинский расхохотался.

– Ну, казните меня. Право же, невысказанно оставаться серьезным, слушая иногда, как вы выражаетесь! Уверю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Я уже говорил вам, что я лучшего мнения о ней по ее письмам, чем ее родная дочь. А вот за вашу заботу о моей нравственности, – ведь вы боитесь, чтобы похвалы не вскружили мне голову, – я приношу вам глубочайшую благодарность... Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы останетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние! Так принимайтесь же за чтение! Я захватил для вас восьмой том Белинского и несколько томов Пушкина... Окажите мне маленькое доверие. Начинать сейчас же читать «Евгения Онегина», а затем немедленно прочитайте критику Белинского на это произведение. Так читайте и остальные сочинения Пушкина. Я бы желал также, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.

Как мне было совестно всего того, что я наговорила Ушинскому! Мне так хотелось просить его простить меня за все мои глупости, но порыв отчаяния прошел, а вместе с этим улетучился и подъем смелости, когда я только и могла говорить все, что мне приходило в голову. Мною овладела обычная конфузливость, и я знала, что, если бы в эту минуту встретила Ушинского, я бы не решилась произнести ни одного слова. Мое волнение быстро улеглось уже потому, что мне удалось высказать все, что меня так смущало. Этому душевному умиротворению помогло и чувство благодарности, и надежда, что при Ушинском все в институте изменится к лучшему. «Наконец-то и в этой казарме, – думала я, – появился человек, который действительно заботится о нас, с которым можно поговорить и посоветоваться, который, несмотря на мои пошлые выходки, не только не отвернулся от меня, но поспешил даже оказать новую услугу, – и при этих мыслях теплая струйка крови прилила к моему сердцу и согрела его. – Что из того, что меня не интересует чтение, – думала я. – Ушинский сделал для меня все, что мог, и я оказалась бы неблагодарной, если бы не исполнила немедленно его желания».

Хотя вновь устроенный класс именовался теоретически-специальным, но это было не совсем точное название: кроме естествознания, физики и педагогики, в нем проходили курс наук по программе среднеучебных заведений, но в более расширенном виде, чем в нашем прежнем выпускном классе. К тому же из этого седьмого класса желающие могли переходить в специальный класс, где во второй год своего пребывания воспитанницы должны были обучать детей кофейного класса под руководством учителей. Воспитанницы, оставленные во вновь сформированном классе, в числе которых была и я, поступая на новые курсы, переходили, собственно, в седьмой класс, но в ту минуту он не мог так называться потому, что при прежнем делении не было шестого класса.



Смольный институт. Девочки на уроке.

«Самая важная часть воспитания – образование характера»

(Константин Ушинский)

Относительно воспитанниц, очутившихся в совершенно новом положении, то есть не вышедших из института по собственному желанию, не было установлено никаких правил: выпуск был в марте, а занятия в седьмом классе должны были начаться не ранее как через месяц, да и это не было еще точно определено. Какие классные дамы должны были руководить этими воспитанницами, что они должны были заставлять их делать до начала занятий, на это не было получено никаких инструкций. Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не вменено им в обязанность. И действительно, они не обращали на нас ни малейшего внимания, «Пусть их околачиваются как знают», – говорили они про нас, и мы в полном смысле слова околачивались: кто из нас сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.

Времени для чтения было много, и я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и большую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с татап, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня так много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть и некоторая потребность протеста, заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!» Хотя я заметила, что татап как-то особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и

завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно так же набросились на чтение.

Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из своей библиотеки.

Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочесть нам что-нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час, и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.

Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям.

– Вы должны, вы обязаны, – говорил он, – зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе прежде всего любовь к труду, – без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы не даром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-помалу будет открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех... Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он не фразер и не болтун, если у него не дряблая натурашка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, *следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.*

От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь и какою она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери – медведица, волчица – защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным телом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, *только* о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его милovidнее, – они играют с ним, как дитя с игрушкой. Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ^[38], – «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как

машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, недопивая и недоедая, погруженный во мрак невежества и нищеты».

Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных людей, но тогда (1860 год), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слышавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.

Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского, – бледный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною и притом лишь в главных чертах.

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкой страстностью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы.

Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и пронизательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В. М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видал Ушинского хотя раз, навсегда запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.

Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере, в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.



Скульптура К. Ушинского, установленная в конференц-зале Академии педагогических наук СССР в Москве

Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее все шло от Ушинского и через него: он был наставником и руководителем не только для нас, но и для

приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное, жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.

И теперь еще, каждый раз, когда мой взор встречается портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.

С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узкоэгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.

Глава V

Смольный во время реформ

Назначение Ушинского инспектором классов. – Его отношение к бывшим учителям. – Его преобразования и вступительная лекция

В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский^[23]. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными. Наша всеильная начальница Леонтьева давно забрала в обоих институтах всю власть в свои руки и всегда действовала по своему личному усмотрению: ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Не имея ни малейшего представления о просвещенном абсолютизме, Леонтьева управляла двумя институтами, как монарх, не ограниченный никакими законами, по образцу восточных деспотов. Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.

Когда однажды у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились было к двери, чтобы выйти из класса, в него вбежал, буквально вбежал, среднего роста худощавый брюнет, который, не обращая внимания на наши реверансы и нервно комкая свою шляпу в руках, вдруг начал выкрикивать: «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете того, что портить чужую вещь духами или другою дрянью не деликатно!.. Не

каждый выносит эти пошлости! Наконец, почему вы знаете... может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу... Да куда вам думать о бедности! Не правда ли... ведь это *fi donc*...^[24] совсем унижительно!» И с этими словами он выбежал из класса.

Мы были так ошеломлены, что стояли неподвижно. И было отчего: хотя классные дамы ежедневно осыпали нас бранью, упреками и намеками на что-то гнусное с нашей стороны, но от мужского персонала, от наших учителей и инспектора, мы никогда не слышали грубого слова. Для этого не было ни малейшего повода. Наши учителя редко вызывали плохих учениц, а хорошие твердо учили свои уроки. Если воспитанница не знала урока, ей ставили плохую отметку, и этим ограничивались все неприятности между учителями и нами. Учителя и инспектор обращались со всеми весьма вежливо. Что же касается вступления нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), то он обыкновенно торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски: «Monsieur, – рекомендую: воспитанницы такого-то класса», а обращаясь к нам, – «mesdemoiselles, ваш новый инспектор». Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько фраз нового инспектора, правда стереотипных, но в чрезвычайно вежливой форме, в которых высказывалась уверенность, что мы своими успехами заставим его всегда вспоминать о проведенном с нами времени как о самом приятном для него. Затем начинался урок, во время которого учитель вызывал самых лучших воспитанниц, а инспектор старался ободрить конфузившихся и в конце концов высказывал, как он удивлен нашими успехами и хорошою подготовкою. «А это что за инспектор? Не успел появиться, и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков! Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения... А если бы и мы? Неужели такое преступление облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим! Какой-то невоспитанный, некомильфотный!.. И как приличны с нами эти разговоры о бедности!..» – рассуждали мы. Но долго останавливаться над этим вопросом не пришлось: раздался колокол, призывавший нас на урок немецкого языка.



Мария Павловна Леонтьева (1792–1874) – начальница Смольного института благородных девиц в 1839–1875 годах, статс-дама российского императорского двора. Художник – В. Гау

За солидным немцем, отрастившим себе порядочное брюшко и неторопливо приближавшимся к скамейкам, нервною и стремительною походкою вошел в класс Ушинский. Он поклонился, попросил воспитанниц, сидевших на последней скамейке, подойти к его столу и приказал одной из них открыть книгу, но не на том месте, где был заданный урок, а на несколько страниц вперед, и переводить. «Мы этого еще не учили...» –

получил он в ответ. Но Ушинский заявил, что он желает знать, как воспитанницы переводят *a livre ouvert*^[25]. Из страницы, прочитанной каждою, одна могла перевести два-три слова, другая несколько больше, а третья решительно ничего не знала. Когда же он предложил передать по-русски своими словами только что прочитанное, ни одна из нас ничего не могла ответить, никто не понимал даже, о чем идет речь.

На вопрос, сделанный учителю, сколько у нас в неделю уроков немецкого языка и сколько лет мы учимся, он отвечал, что уже шестой год и что мы имеем по два урока в неделю. На это инспектор заметил:

– Вычитая каникулы и бесконечное число праздников, воспитанницы учатся, во всяком случае, не менее месяцев семи, следовательно в году имеют по крайней мере пятьдесят шесть уроков... Ведь если бы они выучивали в каждый урок только несколько слов и на эти слова делали упражнения и переводы, то подумайте сами, какой громадный запас слов они приобрели бы в двести восемьдесят ваших уроков! Между тем воспитанницы не понимают даже смысла прочитанного, хотя текст оригинала простой и легкий.

Учитель оправдывался тем, что вызваны были плохие ученицы, но еще более подчеркивал то, что в институте все внимание обращено на французский язык, что воспитанниц заставляют разговаривать по-немецки очень редко, да и то для проформы, и указывал на то, что сами они терпеть не могут немецкого языка.

Ушинский возражал, что для того, чтобы заставить воспитанниц полюбить немецкий язык, он, учитель, должен был отчасти читать, а отчасти сообщать им содержание лучших произведений Шиллера и Гете.

– О господин инспектор! – насмешливо-добродушно отвечал немец. – Уверяю вас... хотя они и в старшем классе, но ничего, решительно ничего не поймут в сочинениях этих писателей и не заинтересуются ими.

На это Ушинский заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.

Так как учитель в свое оправдание указывал на то, что инспектором были вызваны плохие ученицы, Ушинский предложил ему вызвать самых лучших и начал внимательно вслушиваться в их чтение. Когда одна из них начала бойко переводить, Ушинский заметил ей, что хотя она прекрасно понимает прочитанное, но по-русски выражается неправильно, и указывал ей, как нужно переводить то или другое немецкое выражение.

Когда мы поближе познакомились с Ушинским, мы заметили, что он так уходил в дело, – все равно, читал ли он лекцию или слушал наши ответы, – что не видел и не слышал, что происходило вокруг. Но когда что-нибудь внезапно нарушало тишину, он вздрагивал, резко делал замечание нарушителю ее, не обращая ни малейшего внимания, к кому оно относилось, – к воспитаннице, учителю или к классной даме. Так было и в этом случае. Дежурная дама, m-lle Тюфяева, внезапно с шумом отодвинула свой стул, встала со своего места, подошла к скамейке и начала что-то вырывать из рук одной воспитанницы. Как только она скрипнула стулом, Ушинский быстро поднял голову и стал пристально всматриваться в нее, точно не понимая в первую минуту, что его отвлекло от дела. Но когда у нее завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко закричал: «Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок!» И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая занятия. Тюфяева побледнела, но промолчала, может быть, от неожиданности. С институтской точки зрения замечание Ушинского, как по форме, так и по существу, могло считаться возмутительною дерзостью. Наши инспектора и учителя разговаривали с классными дамами не иначе, как с величайшим почтением. Если же приходилось о чем-нибудь их попросить или сделать самое ничтожное замечание (то и другое случалось крайне редко), то они обращались к ним, наклонив голову и с приятною галантностью: «Mademoiselle N, простите

великодушно, если я решаюсь вас беспокоить...» и т. п. А новый инспектор только что показался, и уже смеет кричать на нее, заслуженную классную даму, как на последнюю горничную! Между тем Ушинский, сделав ей такое неподходящее, по институтскому этикету, замечание, моментально забыл о ее существовании.

– Вы, кажется, немка? – спросил он у воспитанницы, которая только что переводила с немецкого на русский. Получив утвердительный ответ, он узнал и от двух других воспитанниц, прекрасно ответивших на все его вопросы, что они хотя и русские, но дома говорили больше на немецком, чем на родном языке.

– А, вот что! Значит, эти первые ученицы знанием языка обязаны семейству, а не учебному заведению! – сказал Ушинский, обращаясь к учителю, поклонился и повернулся, чтобы уходить, но Тюфяева загородила ему дорогу.

– Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурируем в классе по воле нашего начальства... что мы... что я... я высоко чту мое начальство...

– Если вы уже обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, то, по крайней мере, должны сидеть тихо, не скрипеть стулом, не шмыгать между скамейками, не вырывать бумаги у воспитанниц, не отвлекать их внимания от урока... Понимаете? – резко перебил ее Ушинский.

– Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет... мне, милостивый государь, седьмой десяток... да-с, седьмой десяток... я не привыкла к такому обращению... Это все, все будет доложено кому следует.

– Если вы дежурите с такой определенной целью, то и исполняйте ваши священные обязанности!.. – С последними словами он вышел из класса.

Тюфяева возвратилась на свое место, но была так взволнована, что не брала даже чулка в руки, который она обыкновенно вязала; горько покачивая головой, она вдруг расплакалась и направилась к выходу. Воспитанницы в первый раз остались в классе с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент: он вдруг встрепенулся и, по заведенному порядку, начал вызывать учениц одну за другой. Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала со своего места и, прикрывая рот и нос платком (указывая этим, что у нее кровь идет носом), смело вышла из класса, но не в ту дверь, в которую ей надлежало выйти для этого. Мы поняли, что она отправилась «на разведки». Нам тоже не сиделось: мы чувствовали сильнейшую потребность обсуждать происшедшее, а между тем приходилось ждать до звонка, мало того, необходимо было запастись терпением и на весь обед, так как в это время не очень-то удобно было болтать. Немец не обращал ни на что внимания, и мы то и дело оборачивались по сторонам: одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукою, выражая этим, что у нее бог знает что там творится, другая била себя в грудь и закатывала глаза, – это означало, что у нее разрывается сердце от муки из-за того, что приходится так долго молчать.



Смольный институт. Чаепитие с гостями. 1889 г.

В столовую мы спустились без классной дамы. Когда мы шли по парам, Ратманова незаметно присоединилась к нам и сидела за обедом, загадочно улыбаясь. Подруги то и дело подталкивали ее соседок, умоляя их выспросить ее о том, что она успела узнать. «Удалось ли что-нибудь?» – спрашивали ее. Гордо подняв голову, она отвечала, что неудачи преследуют только трусих и идиотов.

Наступил конец и нашим страданиям. Когда мы возвратились в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла в свою комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, воспитанницы кричали, перебивая друг друга:

– Это какой-то ужасающий злец!

– Просто невежа!

– Не конфузится сознаться, что у него денег нет даже на покупку шляпы!

– Неправда, и опять неправда! – смело выскочила на его защиту воспитанница Ивановская^[26]. – Ушинский... это, прежде всего, человек неземной красоты!

– Не ты ли облила его шляпу духами?

– Я не могла этого не сделать!.. Спускаюсь утром на нижний коридор и вдруг вижу – входит... Меня точно стрела пронзила! Я так была поражена его красотой!.. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто, – одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он был под рукой.

Воспитанницы, однако, не одобрили поступка Ивановской. Хотя почти каждая из них делала то же самое, но в данном случае они ссылались на то, что стоило только взглянуть на Ушинского, и каждая должна была бы понять, что он не оценит такого внимания. Хотя это суждение высказывалось *post factum*^[27], но с ним все согласились, судили, рядили, и все-таки никто из нас не мог сообразить, почему Ушинский так обозлился только за то, что его

одежду облили духами. Нашим учителям это, обыкновенно, очень нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Особенно возмутило нас в Ушинском, как величайшая неблаговоспитанность с его стороны, что он осмелился кричать на нас, взрослых девиц, а также и то, как он разговаривал с m-lle Тюфяевой. Конечно, мы все были до невероятности счастливы, что он ее так «отбрил» и «унизил», но многие находили, что хотя она и классная дама, следовательно, гнусное существо, но все же она дама вообще, а каждый образованный мужчина должен относиться к даме по-рыцарски, с утонченную любезностью и почтением.

– Он не только невоспитанный человек, но и форсун!

– Он не форсун, а хвастун!

– Верно, верно! Постарался блеснуть перед нами даже знанием таблицы умножения! Он воображает, что мы без него не сумеем помножить число недельных уроков на семь месяцев!

– А ведь ты бы не сумела! – вдруг зацепила одна другую. Но на них моментально зашикали за то, что они своими глупостями мешают говорить о серьезных вещах.

– Он, наверно, прогонит нашего немца! – кричали некоторые.

– Ого, руки-то короткие! Не сегодня-завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда!

– Много вы понимаете! Он сам может вышвырнуть целую дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский – это такая силища!.. Такая!.. Это просто что-то невероятное!.. – говорила Ратманова.

– Какая там силища! Наглый человек, вот и все тут! – возражали некоторые.

– Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними!.. Жалкие вы созданья, даже просто, можно сказать, стадо баранов! – вдруг отрезала Ратманова.

Страшная буря негодования поднялась против нее и, вероятно, окончилась бы тем, что многие жестоко перебрались бы между собой и, уже наверно, большая часть воспитанниц перестала бы разговаривать с нею на неделю-другую, но на этот раз все охвачены были новым, не испытанным еще настроением: хотелось обсуждать происшедшее, узнать как можно более новостей об инспекторе. Сознывая, что Ратманова обладает хорошою памятью и, будучи весьма толковой и неглупой, умеет точно передавать слышанное, воспитанницы упрашивали друг друга прекратить перебранку и умоляли свою оскорбительницу рассказать все, что она узнала. В другое время Ратманова не упустила бы случая «поломаться», но в эту минуту ее охватило сильное желание говорить, ее всегдашнее стремление «пофигурять» (так мы определяли ее желание первенствовать) взяло наконец верх над остальными ее соображениями, и она передала следующее.

По выходе из класса она, прежде чем завернуть за угол коридора, заметила прогуливающих и разговаривающих между собою инспектрису и Ушинского. За углом ей все было слышно, но первой части разговора она не застала. Она пришла, когда Ушинский рассказывал m-me Сент-Илер о своем столкновении с Тюфяевой, но, не зная ее фамилии, он так характеризовал ее: «Знаете, такая дряблая старушонка... хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что живет очень долго... Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценится только тогда, когда она полезна ближним, да не стоило терять времени с этой скудоумной головой! Но так как она грозила донести своему начальству, то я и предупреждаю вас об этом».

Инспектриса, по мягкости своего характера, просила его о снисхождении к классным дамам, указывая на то, что некоторые из них действительно не блещут своим образованием, но где же взять образованных?

Ушинский указывал, что если бы при приеме классных дам руководились правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих только «кадить всякой пошлости», то при старании, конечно, можно было бы найти подходящих...

– «Кадить всякой пошлости!»! «Кадить всякой пошлости!»! Какое чудесное выражение! – подхватывали мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.

– А что еще он сказал! – продолжала Ратманова. – «Нужно, говорит, создать иные условия для приема воспитанниц и *скорее выбросить весь теперешний старый хлам...*»

– Какой он умный! – всплеснули мы руками в восторженном изумлении.

– Не мешайте же слушать! – зывали другие, боясь проронить хотя слово Ратмановой, которая продолжала передавать его разговор с инспектрисой.

– Выбросить старый хлам служащих, и сделать это как можно скорее необходимо уже потому, – говорил Ушинский, – что теперешние классные дамы притупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца.

– Притупляют умственные способности и озлобляют сердца! – повторяли мы, как молитву, за Ратмановой. Вообще в Ушинском нас на первых порах поражали не только его ум и находчивость, но, кажется, более всего слова и выражения, так как, кроме официальных, обыденных слов, мы до тех пор ни от кого ничего подобного не слышали.

– Инспектриса отвечала ему, что она, хотя и с большим трудом, может еще представить себе, что при приемах классных дам будут более, чем теперь, обращать внимание на их умственное развитие, но никогда, она за это ручается, ни одна начальница института не согласится на то, чтобы оставлять воспитанниц в классе с глазу на глаз с учителем. Это немисливо уже потому, что идет вразрез со всем характером институтского воспитания, и такой обычай, по ее мнению, имеет основание: учитель во время урока занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не занимались посторонним.

«– О, когда начнут занятия новые учителя, они сумеют настолько заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним...»

– Вы, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт?

– На идеальный не рассчитываю, но если бы я не верил в то, что мне удастся оздоровить это стоячее болото...»

– Ах ты боже мой!.. Душка, Маша, неужели он так-таки и сказал: *стоячее болото*? Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт! Мамап должна была его оборвать тотчас же. Ну, говори, говори, что же на это инспектриса?

– Ни гугу! Да разве он только это говорил! Он вот еще что загнул: «Я, говорит, до сих пор думал только о том, как бы получше поставить преподавание, но те немногие дни, которые я провел здесь, показали, что мне придется вмешиваться и в некоторые стороны воспитания... Если не будут уничтожены многие безнравственные обычаи, развращающие воспитанниц, они будут мешать их правильному развитию.

– Что же безнравственного вы нашли в наших обычаях?

– Но разве не безнравственно заставлять учениц снимать пелеринки перед приходом учителя? Ведь в послеобеденное время я сам видел, что они сидят в пелеринках, значит, тут дело идет не о том, чтобы приучать к холодной температуре...

На это мамап весело расхохоталась.

– Помилуйте, вы хотите не только перереформировать наш институт, но перереформировать всю жизнь женщины вообще, изменить даже все людские отношения! В таком случае вам придется восставать и против балов, на которые девушки являются декольтированными.

Ушинский не уступал и тоже весело смеялся.

– Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь... Но согласитесь сами: ведь с обнаженными плечами на балы являются для того, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки! И вдруг здесь с раннего возраста приучают девушек оголять себя!.. Всеми силами буду добиваться уничтожения этого неприличного обычая».

– Но тут колокол прервал их беседу, и madame Сент-Илер от всего сердца пожелала ему перестроить институт на идеальных началах, хотя сильно сомневалась в удаче; он тоже задушевно пожелал ей всего лучшего. Характер их беседы не носил ничего официального: они называли друг друга по имени и отчеству, разговаривали просто и дружески.



Преподаватели Смольного института в учительской комнате. 1889 г.

Колокол призывал и нас к чаю, хотя души наши рвались обсуждать без конца небывалые новости. До сих пор никто, ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же оживленно болтали мы и после чаю, когда пришли в дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились на нескольких кроватях. И на этот раз каждая спешила высказать свое мнение. Мы совсем не были подготовлены ни к самостоятельному мышлению, ни к критическому анализу. Мысли наши были какие-то коротенькие и несложные, высказывались отрывочно и непоследовательно. Наши чувства и выражения были не только стадными, но часто извращенными, язык наш страдал однообразием и бедностью выражения, запас слов был крайне невелик. Но как бы то ни было, наша мысль зашевелилась впервые, нас охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки пылали, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь к кроватям при каждом шуме из комнаты классной дамы.

– Он просто отчаянный какой-то! – было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно, почуяли в его личности что-то сильное, крупное и оригинальное. Эпитет отчаянного, который ему давали, польстил «отчаянным»: то одна, то другая обращала внимание подруг на то, что отчаянность уже вовсе не такой порок, как у нас принято думать. Вот он отчаянный, а между тем очень умный и, кажется, даже хороший: сейчас раскусил, что Тюфяева дрянь, а немец плохой учитель. Но не все соглашались с этим определением: умные и хорошие люди, утверждали они, непременно в то же время люди благовоспитанные, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другие в число его преступлений заносили и то, что он осмелился назвать наш институт «стоячим болотом», а «всем известно, что это первоклассное заведение». Более всего трепались в институте выражения: «все говорят» и «всем известно», – они казались многим сильнейшим подтверждением сказанного.

– А что в нем хорошего, в этом вашем институте? – с лицом, пылающим гневом, выскочила Ратманова. – Пусть говорит каждая все хорошее, что знает о нем!.. Разве то, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что нашими воспитательницами были даже сумасшедшие, что мы ни в ком не находили защиты, что мы ни от кого не слышали доброго слова? Ах, молчите, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением, или, лучше сказать, с вашей первоклассною чушью и тупостью! – И действительно, все замолчали, сознавая справедливость ее слов.

– А все-таки он странный! Как это он не понимает, что ничего нет дурного в декольтировании? Это только красиво! Ведь если бы это было пошло и неприлично, то во дворцах и в аристократических домах на балах не являлись бы с голыми плечами? – Этот довод показался настолько веским и убедительным, что все присоединились к нему. Но тут же некоторые старались оправдать непонимание Ушинским таких простых вещей тем, что он, вероятно, очень ученый, сильно заучился, а потому и ничего не смыслит в жизни, особенно же в красоте.

– Небось очень понял, что татап красива, а Тюфяева урод: он потому-то так и накричал на нее, а с красивой татап у него и дружеские разговоры.

– Не то, не то... – возражали ей. – Тюфяева идиотка, а татап умна и умеет всех очаровать. Да он скоро и ее раскусит!.. Что-то будет завтра? Ах, если бы он подольше у нас остался! – восклицали воспитанницы, но тут же единогласно высказывали твердое убеждение, что ему у нас несдобровать.

Через несколько дней после описанных событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского, который преподавал во всех младших классах. Это был человек сухой, как скелет, длинный, как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами, с коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. Самое неприятное в этом преподавателе было то, что он при своем чтении и объяснении брызгал слюною во все стороны, отчего сильно страдали воспитанницы, близко к нему стоящие. Его урок делился на две части: первую половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, требуя, чтобы ее отвечали слово в слово, ничего не пополняя, не изменяя и не сокращая в ней. Диктантом он никогда не занимался, как будто не имел даже представления, что это следует делать, и дети разучились бы писать, если бы он не задавал списывать и выучивать басню за басней Крылова.

Самая характерная часть урока наступала тогда, когда Соболевский приказывал отвечать басню. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал, как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах: лису, согнувшись в три погибели, до невероятности скашивая свои и без того косые глаза, слова произносил дискантом, а чтобы напомнить о ее хвосте, откидывал одну руку назад, помахивая ею сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Когда дело шло о слоне, он

поднимался на носки, а на длинный хобот должны были указывать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по зверю, он то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами, оскаливал зубы.

Ушинский вошел на урок как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню «Слон и моська». Когда он произнес слова: «Ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться», он старался все это драматизировать более, чем когда-нибудь. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания, но, чтобы прекратить комедию, наконец сказал: «Я буду диктовать». Когда после этого он просмотрел несколько тетрадей, то заметил, что некоторые воспитанницы делают в словах больше ошибок, чем букв, кивнул головой и вышел.

Оба они встретились на нижнем коридоре, и Ушинский заметил:

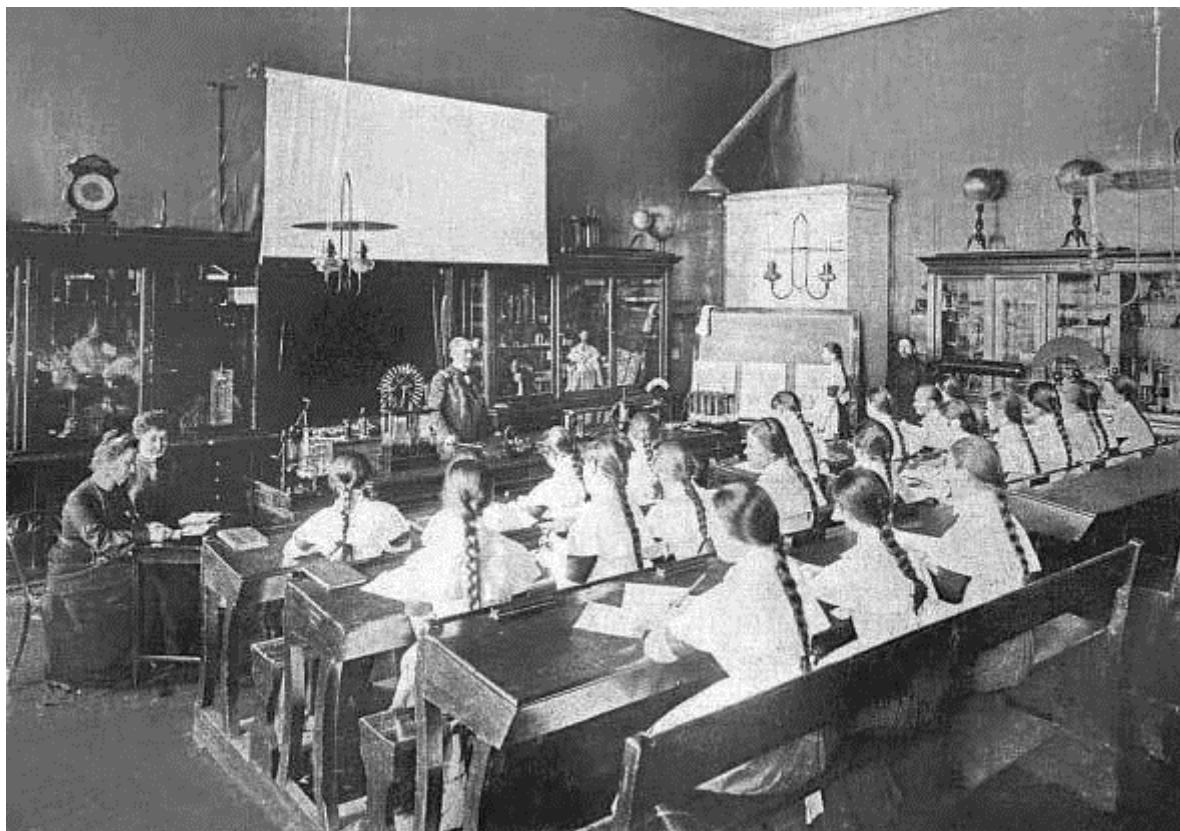
– Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас уже выходит целое представление... Так кривляться даже как-то унижительно для достоинства учителя.

Соболевский и тут не понял, что эти слова – его приговор, и отвечал, что он с трепетом будет ожидать окончательного решения г. инспектора. Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Соболевский нашел их и уже нагнулся, чтобы подать их ему, но Ушинский со злостью вырвал их у него и произнес с запальчивостью:

– Лакей на кафедре – уже совсем неподходящее дело!.. Это мое окончательное решение!

– «Лакей на кафедре»! «Лакей на кафедре»! – повторяла одна воспитанница другой. – Господи, какие у него все чудные выражения! Знаешь, душка, я сейчас сошью маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения...

Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинский урока нашего учителя литературы и словесности Старова, который считался у нас лучшим преподавателем. Мы тщательно готовили его уроки, а потому наперед праздновали победу.



На уроке.

«Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание всякого плодотворного учения»

(Константин Ушинский)

Старов по натуре был человек порядочный, мягкий, добросердечный и обязательный. Он пользовался всеобщим расположением. В то время как мы считали минуты, когда окончится урок того или другого учителя, мы заслушивались Старова и каждый раз с нетерпением ожидали его урока. Мы проходили у него теорию прозы и поэзии, а также и литературу. Как у большинства других учителей, мы не имели и для его курса никакого учебника. Руководством для этого предмета нам служили листки, составляемые Старовым, которые мы из любви к учителю заучивали очень твердо и переписывали особенно изящно. Нужно сознаться, теория прозы и поэзии Старова была образцом самых нелепых определений, громких, напыщенных фраз, отрывочных сведений, не приведенных в систему. Но мы тогда не понимали этого и более других предметов любили учить уроки Старова, так как они были испещрены словами: «высокое», «прекрасное», «эстетическое», «идеал», и отрывками из произведений в стихах и в прозе, которые Старов, по нашему мнению, читал нам в совершенстве. Читал он несколько гробовым голосом, сопровождая чтение классическими жестами, но нам это чрезвычайно нравилось. В стихотворениях нас увлекала музыка и мелодичность стиха, в прозе – возвышенные выражения, и хотя до смысла мы не додумывались и наш учитель не объяснял нам его, но все же это нас увлекало более, чем сухое заучивание грамматики. Отрывки из теории прозы и поэзии Старова нам очень мало давали и потому, что они были слишком отрывочны и служили пояснением мало для нас понятного определения какого-нибудь рода поэзии или прозы. Так же проходили мы у него и историю литературы. В его записках в хронологическом порядке были названы все произведения автора, с несколькими страницами объяснений при наиболее крупных из них. Сами мы никогда не читали ни одного произведения знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществлялась в том или другом художественном образе. Несмотря, однако, на все это, Старов был самым лучшим и даже единственным искренно любимым учителем. В то время когда остальные учителя держали себя с нами хотя и вежливо, но официально, он один неизменно относился к нам с самым теплым участием. К тому же он так возвеличивал, так идеализировал женщин вообще, а это, конечно, не могло не льстить нам.

– Женщина, – слышали мы чуть не на каждой его лекции, – самое возвышенное, самое идеальное существо! Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду, поселить любовь, внушить уважение... Только женщина может примирить человека с жизнью! Только красота женщины, ее грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску, тяжесть одиночества.

Мы, конечно, не имели ни малейшего представления, каким образом мы можем разгонять тоску одиночества, как мы будем обновлять мир и зачем его обновлять, ни малейшего понятия не имели мы и об идеалах, какие нам предназначено внести в мир, но все же из этих слов нам было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.

Добрая натура Старова не выносила официальных отношений: встречая на коридоре толпу всегда поджидавших его девиц, он не только радушно со всеми раскланивался, но, замечая облачко на чьем-либо лице, нежно произносил: «Что затуманилась, зоренька ясная»^[28] или что-нибудь в этом роде, всегда с экстазом декламируя множество стихов и вне классов, и во время уроков.

– Ах, monsieur Старов, – говорит ему одна воспитанница, – я сегодня буду наказана. – И она откровенно рассказывает ему, за что ей придется вынести наказание, и кем оно назначено.

Старов, как стрела, бросается к классной даме и, хватая ее за руки, со слезами на глазах, начинает ее умолять простить воспитанницу.

– Вы добрая, прекрасная, хорошая. Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа, как женщина, жить злое чувство!.. Нет, это невозможно! Карать... казнить... и кого же?.. Такое юное, такое невинное существо!.. Возможно ли казнить юность за ее увлечения? Прощать, прощать – вот назначение женщины! Клянусь вам, прощающая женщина – это... это... ангел в небе! Нет, я не уйду отсюда! Я вымолю у вас прощение! Я стану перед вами на колени!

Опасаясь, что Старов приведет это в исполнение, и польщенная прекрасными эпитетами, которые ей едва ли когда-нибудь приходилось слышать от мужчины, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его желание. «Ах вы, чудак! Добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо, для вас я прощаю», – и она немедленно подзывала провинившуюся воспитанницу и громогласно объявляла, что прощает ее для г. Старова... Все сядились за урок в самом добром, мирном настроении.

Начальство смотрело на Старова как на очень вежливого человека, прекрасного учителя, прощало ему его экстаз и эксцентричные выходки и нисколько не мешало нам, воспитанницам, окружать его толпою на коридоре, так как отлично знало, что характер его разговоров и вне классов, и на уроках неизменно один и тот же. И действительно, Старов везде был одним и тем же незлобивым, восторженным человеком, легко приходившим в экстаз, по-видимому, часто даже без малейшего для этого повода. Вследствие своей ограниченности он как учитель не мог принести нам особенной пользы, но зато не сделал никому не только ни малейшего вреда, но и какой бы то ни было неприятности. Восторженность его положительно была беспредельна: когда знаменитый артист Олдридж давал в Петербурге свои представления и публика во время антракта вызывала его, Старов пробрался на театральные подмостки, бросился перед ним на колени и поцеловал его руку^[291].

Итак, мы считали Старова не только симпатичнейшим из людей, но и замечательным преподавателем, и не находили ни малейшего пятнышка в его преподавании. Когда в первый раз после назначения Ушинского мы поджидали Старова на урок, мы вышли встретить его целой толпой. При его появлении мы тотчас начали рассказывать ему все «выходки» нового инспектора.

– Несомненно, – говорил Старов грустно и задумчиво, – такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво... Но зачем же такая резкость тона, за что оскорблять! Он человек семейный, бедняк, неразвитой, конечно, но совсем не злой...

Когда мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:

– Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочивать этот... грубый материализм! – И затем, несколько помолчав, он добавил уже совсем печально: – Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!

– Ну, уж этому не бывать! – закричали мы в один голос. – Если он вас не сумеет оценить... он, значит, уж совсем невежда! Мы все тогда восстанем! Мы ни за что этого не допустим!

Старов обводил толпу институток восторженными глазами, которые без слов говорили: «прелестные создания», затем, раскачиваясь из стороны в сторону, как это всегда с ним бывало перед какой-нибудь наиболее восторженной импровизацией, он начал:

– Вы не знаете, что творится в мире! О, как прелестны вы вашим неведением! Не теряйте его, этого лучшего сокровища юного сердца!

Но мы перебили его, желая во что бы то ни стало с его помощью хотя несколько уяснить себе загадочный характер нового инспектора.

– Monsieur Старов, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение об Ушинском... Вы сказали... грубый материализм... Что это означает? – приставали мы к нему.

– Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю господина Ушинского. Слышал, конечно... Как бы это вам объяснить... Видите ли... В большом ходу теперь новые идеи... Конечно... многие из них заслуживают полнейшего уважения... Мне говорили, что Ушинский... в высшей степени образованный человек... Он, говорят, поклонник новых идей! Что ж!.. Нам, старикам, по правде сказать, и давно пора очищать место для новых людей, для новых идей!

Звонок прекратил наши расспросы, заставив нас опрометью бежать в класс. Мы не успели еще рассестись по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся со Старовым.

– Вам угодно будет экзаменовать девиц? – обратился Старов к Ушинскому.

– Нет! я буду вас просить продолжать ваши занятия. Старов начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пушкине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала.

– Очень твердо заучено... – заметил Ушинский. – Но вместо «фразистых слов учебника» (о ужас! эти, как он называл, «фразистые слова учебника» были записки самого Старова) расскажите мне содержание «Евгения Онегина»!

Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не существует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и тот же день читает нередко в двух-трех заведениях.

– В таком случае я совсем не понимаю преподавания литературы! Вы обращались по этому поводу с запросом к администрации заведения?

– Дело здесь испокон века так ведется... Забота о библиотеке – не мое дело...

– Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь встать...

Никто не двинулся с места.



Смолянки на катке. 1889 г.

«Вечно не стареющее детство души есть глубочайшая основа истинного самовоспитания»
(Константин Ушинский)

– Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знаете? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермонтова, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как, ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального произведения! Да ведь это, знаете, что-то уже совсем баснословное! – Ушинский не получал ниоткуда никакого ответа и, все более горячась, обращался то к воспитанницам, то к учителю. – Но чем же набит ваш шкаф? – И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями; две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг^[30], Евангелием и несколькими дюжинами разнообразных учебников. Пожимая плечами, нервно перелистывая учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут молча простоял у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место. – Что ж, потрудитесь продолжать занятия, – сказал он как-то вяло, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.

– Какие тут занятия! – обиженно процедил сквозь зубы Старов, однако вынул из портфеля один из томов Пушкина и начал читать стихотворение «Чернь»^[31], с каждой строчкой приходя все в больший экстаз. Последнее четверостишие:

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв... —

он читал, уже вскочив с места, с воспаленными глазами, голосом, прерывавшимся от волнения и выражавшим все ядовитое презрение, какое только могло накопиться в этой

доброй душе ко всем поборникам материализма, не умеющим ни понимать, ни ценить небесных вожделений и поэтических восторгов.

– Но ведь воспитанницы незнакомы еще и с более капитальными произведениями Пушкина... – заметил Ушинский. – Впрочем, продолжайте... Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?

– Что же тут объяснять! Они отлично все понимают... У этих девушек весьма сильно развито художественное чутье...

– Ого, даже художественное чутье!.. А чем бы, кажется, оно могло быть развито при таких условиях, – сказал Ушинский, не скрывая иронии, и, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта девица, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали с напряженным вниманием.

Тогда в дело вмешалась инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов замечательный преподаватель, что воспитанницы чрезвычайно любят его предмет и много над ним работают, но в данную минуту они очень переконфузились и потому не могут отвечать.

– Может быть, может быть, – недоверчиво улыбаясь, отвечал Ушинский. – Попробуем объясниться письменно! Пусть одна из воспитанниц вслух раза два прочтет стихотворение, и затем, девицы, потрудитесь своими словами письменно изложить прочитанное. – И он вышел в коридор.

Наша письменная работа оказалась в высшей степени бестолковою: у одних она представляла шумиху напыщенных фраз, не имеющих между собою элементарной логической и грамматической связи, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот, и при этом у тех и у других немало было крупных орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.

Мы скоро пришли к убеждению, что новый инспектор не уволит нашего общего любимца Старова только в том случае, если мы выступим на его защиту. Мы предполагали, что, когда ученицы очень хвалят своего учителя, каждый обязан понимать, что при этом уже нельзя усомниться в его педагогических талантах. И мы решили защищать его до последней капли крови.

Нельзя сказать, чтобы мы не сознавали всей трудности задачи говорить с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но нам казалось, что уклониться от этой обязанности было бы величайшею низостью.

Как плохо, однако, мы были вооружены для этого! Если между нами и были поэтессы, то ораторов, даже плохоньких, совсем не существовало. Мы наивно выражали наши детские мысли, не умели выделить главного от мелочей и при этом страшно сконфузились всех, а тем более Ушинского. Но для любимого Старова никакая жертва не была тяжела. Мы условились между собою, что одна из нас во всем блеске выставит необыкновенную доброту Старова, другая укажет на его таланты, видимо, совсем неизвестные «господину инспектору».

Мы бросились к нему, как только он показался в коридоре.

– Monsieur Ушинский! – кричали мы, окружая его.

– Ах, пожалуйста, не называйте вы меня monsieur! Чересчур официально! Константин Дмитриевич, да и все тут!..

Это неожиданное предложение так переконфузило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним беседовать.

– Что же вы хотели сказать? Ради бога, не конфузьтесь! Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно... И не очень сердитесь за мою резкость, за мой, может быть, не совсем вежливый тон... Работы у меня гибель, я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которую можно было бы закруглить, смягчить то, что хочешь сказать... Ну, в чем же дело?

Мы толкали ту, которая должна была начинать, но она могла только проговорить:

– Вы недовольны Старовым! Ведь он же не виноват, что нам не дают книг! Вы его совсем не знаете!.. Он такой добрый!.. Просто даже чудный человек!

– Правда, правда: незлобивый, даже весьма недурной человек, но, к сожалению, этого еще очень мало для преподавателя...

– Вы, должно быть, не знаете, что он поэт! Даже очень знаменитый поэт! – лепетала Ивановская, обязанностью которой было выставить его таланты.

– Не знал... не знал, что такой поэт существует! Да еще знаменитый! Гм... подите же!.. Какие же такие его произведения? Он уже, конечно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках только?

Ивановская пролепетала, что у него есть чудное стихотворение «Молитва». Ушинский в конце концов уломал ее продекламировать его, и она начала дрожащим голосом:

Как много песен погребальных
Еще ребенком я узнал,
И скорбный смысл их слов прощальных
Я часто юношей внимал.
Но никогда от дум печальных
Старое душой не унывал!
Создатель мира, царь всесильный.
Мне много, много подарил,
Когда веселостью обильной
Он трепет жизни домогильной
Во мне...

– Довольно... довольно! Это бог знает что такое! Ведь Старов уже много лет читает литературу в разных заведениях и мог бы понять, что в его стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать эту свою замогильную чепуху своим ученицам! Нет, воля ваша, это просто фразер и пустозвон!.. Не горюйте вы по нем... У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты... по-моему, и одного ума достаточно... так ваш будущий учитель в то же время и очень добрый человек...

– Чем же он лучше Старова? – спрашивали мы, удивляясь, что с Ушинским можно разговаривать.

– Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора.

– А как его фамилия?

– Водовозов.

– Ну, уж одна фамилия чего стоит! – выпалила, расхохотавшись, одна из нас, неожиданно даже для себя самой.

– Вы ошибаетесь, – запальчиво возразил Ушинский, решительно не переносивший не только ни малейшей пошлости, но и глупой остроты. – Он будет пригоден и для того, чтобы научить вас понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.



Василий Иванович Водовозов (1825–1886) – русский педагог, переводчик, детский писатель; муж Елизаветы Водовозовой

Переконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, воспитанницы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не умевших защитить Старова, и перекоряясь между собой. Хотя при этом сильно доставалось и Ушинскому, которого мы честили эпитетом «непроходимой злюки» за то, что он выгоняет даже добрых учителей, но

когда несколько успокоились, то некоторые начали высказывать, что незачем-де было цитировать стихи Старова, которые действительно уже вовсе не так прекрасны, забывая о том, что еще недавно они так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Это критическое отношение пошло и дальше: говорили, что хотя Старов и чудный человек и превосходно читает, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается. На это Ратманова закричала во все горло:

– Если бы сюда собрать всех мировых гениев прошлых, настоящих и будущих веков, все они вместе ни на йоту не просветили бы ваши дурацкие головы!

Поднялась страшная буря, – все набросились на Ратманову. На это как сумасшедшая вбежала m-lle Лопарева:

– Как вы имеете так орать? Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок.

Она перед этим с кем-то разговаривала в коридоре, куда сейчас же и выбежала.

– Не смейте подчиняться этому! Преспокойно садитесь, когда войдет учитель... – кричали некоторые.

И действительно, когда в класс вошла Лопарева, а за нею учитель, мы, несмотря на наказание, преспокойно уселись на свои места. Это был первый протест, устроенный сообща всем классом без исключения. Лопарева густо покраснела от злости, но не решилась пикнуть, вероятно, поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее сделаем скандал, чем подчинимся требованию.

Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но большая часть их оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы^[32].

Воспитанница старшего класса Аня Ивановская отправила однажды письмо к своему отцу через классную даму Тюфяеву, в котором она просила его прислать ей денег. Ответ получился через ту же даму, у которой была родственница, несколько знакомая с г. Ивановским; она приносила о нем разные сплетни m-lle Тюфяевой. Ивановский на этот раз отказывался исполнить просьбу дочери за неимением денег. Тюфяева, прочитав письмо и передавая его Ивановской при ее подругах, начала попрекать ее тем, что она научилась «нос задирать», а между тем у отца ее ничего нет; если же что и перепадает ему, то он предпочитает тратить деньги на театры, чем посылать их дочери. Из этого примера Тюфяева сделала общий вывод и начала обычную свою канитель на тему, что-де от них, классных дам, теперь требуют бог знает чего, даже каких-то нежностей с воспитанницами, которые для них совершенно чужие, а вот и отец родной, а нежностей к дочери и особых забот о ней не проявляет.

Зная необыкновенную вспыльчивость Ивановской, воспитанницы незаметно, но ловко выталкивали ее локтями в задние ряды, и она наконец выбежала в коридор. В эту минуту проходил Ушинский и с большим участием обратился к ней, спрашивая ее оказать ему маленькое доверие, сказать, почему она так грустна. Она объяснила ему, что воспитанницы обязаны переписываться с родителями не иначе, как через классных дам. Такое правило существует, и тут уже ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников. К тому же ее оскорбляет то, что m-lle Тюфяева воспользовалась письмом ее отца для того, чтобы попрекать ее теми сплетнями, которые она собирает о нем у своей родственницы, с умыслом искажает его слова, чтобы унижать ее и часами говорить свои опостылевшие проповеди.

Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что оно поможет ему обратить внимание на эту сторону жизни институток, что он поговорит об этом с кем следует и будет стараться уничтожить этот обычай. И действительно, мы узнали, что Ушинский со всей энергией, присущей его страстному темпераменту, говорил с принцем

Ольденбургским^[33], а также и на разных совещаниях о том, что обычай контролировать письма воспитанниц подрывает основы семейных уз и приучает их хитрить, лгать и обманывать. Развивая в воспитанницах рабские чувства, он не дает начальству возможности достигать единственной цели, к которой оно при этом стремится, то есть мешать воспитанницам передавать родителям что бы то ни было непочтительное о начальстве. Когда им необходимо снести с родственниками так, чтобы этого никто не знал, они умеют обходить это правило. Воспитанница, раздраженная тем, что не может по душе говорить со своими родителями, в своем секретном письме отделаёт начальство так, как это ей не пришло бы в голову, если бы ей не мешали быть откровенной с ними всегда, когда она того пожелает.

Однако Ушинскому, несмотря на красноречивые доказательства вреда этого обычая, не удалось его уничтожить, но он сильно ослабил его: в либеральную эпоху его инспекторства некоторые классные дамы начали передавать воспитанницам письма, не распечатывая их, — другие распечатывали лишь для проформы. Но, конечно, оставались и такие, которые не меняли своего поведения в этом отношении.

Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок носил характер живых бесед. Однако большинство нововведений, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, когда он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.

Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слышали о том, что он объяснял в других классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.

С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какой-нибудь глупостью с нашей стороны. Все искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфически институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным. Нам казалось уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило

об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем.

Мы узнали, что его педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором^[34], обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решила ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России.



Мемориальная доска на здании Сиротского института в Гатчине

Как-то, когда до выпуска оставалось всего несколько месяцев (тогда выпуски бывали в марте), ко мне подошел Ушинский и спросил:

– Не вы ли та воспитанница, которая вследствие падения с лестницы чуть не вдребезги разбила себе грудь и, испытывая жестокие боли, подвергая себя смертельной опасности, не пошла к доктору, опасаясь этим опозорить себя?

Я почувствовала в его вопросе иронию и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что это была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, тонкие, крепко сжатые губы которого так редко улыбались, разразился громким, веселым смехом, а мне это показалось каким-то оскорбительным издевательством, и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас невежеством.

– Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись?

– Каждая на моем месте поступила бы так же...

– Ну нет! Если даже у всех вас такие «идеальные убеждения», то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у такой девочки, как вы, такой характер, столько силы воли, она может употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам, вместо того чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных. Уверяю вас... почитаете, подумаете, поработаете головой и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.

Видя мои колебания, он добавил, что если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого еще много времени впереди.

Ушинский явился первым светлым лучом в царстве институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни. После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.

– Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди без исключения будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами, значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь если это верно, значит, все на свете перевернется!

– А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы – с нашими горничными...

– Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницей и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко...

– Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью, – это значит, что он ничего не накрал, а что большая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.

Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала голова.

Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина^[35] и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.

Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну, всегда запертую комнату. Наконец она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.

Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто никогда не показывал их воспитанницам. Ввиду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал, кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как немало дорогих вещей оказалось испорченными молью.

Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немислимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг «мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения, – так поразил всех доклад Ушинского об его находке. «Начальство увидало в этом чуть не перст божий, споспешествовавший мне в моих предприятиях», – смеясь, рассказывал он об этом.

Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.

Этот «музей» тоже внес в жизнь институток некоторое оживление. «Все видели вечно запертую комнату, однако никто не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее. Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает», – рассуждали мы, проникаясь все большим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него, как на что-то вроде мага и волшебника.

Мы то и дело бегали осматривать «музей», но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченные чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был запрещен до приведения его в порядок, то мы еще сильнее стремились заглянуть в него. Однажды две воспитанницы нашего класса, увидав, что Ушинский только что вышел из «музея», вбежали в него. Никого не заметив и рассматривая животных, расставленных временно на полу, одна из них, указывая подруге на зверька, утверждала, что то был соболь, другая настаивала на том, что это – куница. Вдруг из-за угла шкафа вышел молодой человек и проговорил:

– Ни то, ни другое, mesdemoiselles, – это только ласка... Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади? Правда?

– Какая дерзость! – закричала ему в упор одна из воспитанниц.

– Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому! – бросила ему другая.

– Ах, барышни, барышни! Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно!.. – со смехом возразил молодой человек, видимо, нисколько не испуганный их угрозою.

Девушки как ошпаренные выскочили из «музея» и чуть не со слезами передавали подругам этот эпизод. Мы долго обсуждали сообща, как бы проучить «нахала». Нам казалось это необходимым, так как в этом случае была затронута наша корпоративная честь. Но мы пришли к убеждению, что это невысказано. Ушинский обыкновенно уходил и приходил вместе с молодым человеком (оставлять постороннего у нас не допускалось), и на этот раз он вышел, вероятно, лишь на несколько минут; следовательно, всякая «история» с нашей стороны причинила бы большую неприятность Ушинскому, и он мог бы посмотреть на это с очень нелестной для нас стороны.



Один из корпусов музея ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Это маленькое приключение имело большое влияние на мою личную судьбу. «Разве Ушинский не сдерживает порою улыбку, когда мы с ним разговариваем? Разве при наших рассуждениях с ним с его уст не срываются слова: “Как это странно, как это наивно!” А мой брат еще более бесцеремонно повторяет, когда я что-нибудь рассказываю ему об институтской жизни: “Как это глупо, как это пошло!” Да... над нами все издеваются, все смотрят на нас как на последних дур! Учиться, учиться надо!» – вот какие мысли обуревали теперь мою голову, вот что ясно и определенно сложилось теперь в моем уме.

В первый раз за всю мою институтскую жизнь я написала матери неказенное письмо: в нем я описывала появление у нас нового инспектора, оживление и волнение, которое нас всех охватило, предстоящие у нас реформы, устройство нового класса, в котором будут преподавать новые учителя, извещала ее о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это ее разрешения; об этом я писала и моему дядюшке.

Начались выпускные экзамены; подготовка к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества я решила, что, наверное, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбой, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она сформулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского: «Филологические наблюдения над составом русского языка».

Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписываемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила в тетрадь и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.

В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. Как диаметрально противоположны были по своему содержанию письма дяди и матери! Дядя писал мне, что мое желание остаться в институте весьма удобно для него и для его жены: ввиду того что моя мать не может взять меня к себе, я должна была бы жить в его семействе, а он находит меня слишком молодою для того, чтобы вывозить в свет и на балы. Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор, – прибавляла она, – ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье, как продолжение мною образования, вероятно, разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.

Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. Моя мать была особа энергичная и, долго не получая от меня ответа, могла еще ярче изобразить ему свое тяжелое материальное положение. Вследствие этого я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма моей матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. Я находила, что скрывать это от него было бы не только наглým обманом, но и совершенно лишним: мои занятия, конечно, скоро покажут ему отсутствие у меня умственных способностей. Как это ни странно, мне гораздо легче было сознаться в этом, чем в бедности, несмотря на то что Ушинский так открыто издевался над теми, кто стыдился ее. Стыд за свою бедность исчез у нас позже всех других недостатков и диких взглядов, усвоенных в институте.

Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгой Павского и с тетрадкой, в которой были отмечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же, и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услышала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбой, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради, – я пришла в отчаяние, но дело было сделано.

Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходиться в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадку... Что же... она в полном смысле полна “сердца горестных замет”!^[36] Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы за будущее мое обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.

Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии^[37], который уже отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницей того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал.

Выпускные экзамены окончены, а вот и выпуск. Церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие продолжать своего образования, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Недостает только крыльев, чтобы походить на ангелов. Теперь, когда институты сделались полужакрытыми интернатами, когда институтки, оставляя школьную скамью, имеют хотя какое-нибудь представление о жизни, они уже не могут испытывать при выпуске такого волнения, какое испытывали воспитанницы дореформенного периода. Некоторыми из них овладевал невообразимый страх за будущее, и они ожидали чего-то страшного сейчас, сию минуту, точно вот-вот их поведут на эшафот; другие твердо верили в какое-то сказочное счастье, которое сразу свалится на их головы, как только они переступят порог института. Каковы бы ни были их надежды, все они были крайне взволнованы, и это отражалось на их лицах: у многих стояли в глазах слезы; щеки, даже у бледных воспитанниц, горели румянцем. Еще вчера, в неуклюжем форменном платье, девушка не отличалась особенно милотовидностью, а сегодня, в рамке пышных белокурых или черных волос, она имела прелестный и грациозный вид. А я стояла тут же в своем форменном платье.



Торжественный выпускной бал в Смольном институте

«В конце концов всегда бывает так: если человек, не обращая внимания на предрассудки, твердо и уверенно идет к намеченной цели, – он достигнет ее».

(Елизавета Водовозова)

Безысходное отчаяние вдруг овладело мною. Мне сделалось невыразимо завидно и тяжело смотреть на подруг, навсегда оставивших институт, а я меняла возможную свободу на прежнюю кабалу и неволю. «Счастливицы! – думала я. – Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый колокол, вместо криков бранчивых дам их горячо прижмут к сердцу родные руки! Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего ученья, да и на что оно мне пригодится?» Я бросила взгляд на присутствующих в церкви: среди мужчин и пестро разодетых дам, родственников выпускных, резко выделялись стройные фигуры в белом, говорившие о чистоте, невинности и юной прелести. В углу я заметила серьезную фигуру Ушинского. У меня закипела злоба против него, как против человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это никакого внимания.

Когда я пришла в класс, он был совершенно пуст. Тоска одиночества, непоправимая ошибка, которую, как мне казалось, я сделала, добровольно оставшись в прежней тюрьме, письма матери и дяди в ответ на мою просьбу остаться – все представлялось мне теперь в новом, несравненно более мрачном свете, чем прежде. И я в отчаянии, упав лицом на пюпитр, рыдала, рыдала без конца. Вдруг я услышала позади себя торопливые, нервные шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я делаю, я в первую минуту молчала из боязни, что голос выдаст мои слезы.

– Чего вы вечно конфузитесь? – начал он, подвигая свой стул к моей скамейке и положив свой портфель на пюпитр. – Вы годитесь мне в дочери и могли бы без стеснения разговаривать со мною. Скажите-ка откровенно, ведь вам взгрустнулось потому, что не

удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и беленький кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно, да не смущайтесь вы, бога ради.

Я не только не намерена была смущаться, но почувствовала, что на меня напала даже «отчаянность», совсем исчезнувшая в последнее время. Я отвечала, что конфузиться не буду: все равно, он всегда издевается над нами...

Он отвечал, что такое мнение крайне для него прискорбно, но он все-таки надеется, что это только недоразумение. И он начал говорить о том, что вследствие оторванности нашей от жизни наши взгляды и выражения нередко оказываются действительно странными, иногда даже комичными... Очень возможно, что как-нибудь, слушая нас, он улыбнулся, но он не предполагал с нашей стороны такой обидчивости, такого недоверия к нему. Издеваться над кем-нибудь из нас здравомыслящий человек не может: мы не виноваты в том, что нас здесь ничему путному не научили, что нам привили дикие понятия... Наконец он спросил, что я делала с тех пор, как возвратилась из церкви, и получил в ответ, что ничего не делала. Он выразил удивление, как это можно целых два часа просидеть, ничего не делая, даже без собеседника, говорил и о том, что человек, серьезно предполагающий работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.

Злое, мрачное настроение охватывало меня все сильнее. Мне казалось, что я своими заметками о Павском, а теперь и своими ответами достаточно унизила себя в его глазах, что теперь мне уже нечего терять в его мнении, и стала высыпать перед ним все, что думала перед его приходом. Он ошибается, говорила я ему, предполагая, что я взволновалась из-за того, что не могла надеть белое платье. Я несравненно более пуста, чем он думает, и вовсе не желаю казаться лучше, чем есть. Так вот, я считаю своею обязанностью признаться ему, что прихожу в отчаяние от того, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает, а нередко кажется даже постылым. Да и к чему это учение? В ученые лезть я не собираюсь, а «синим чулком» называться не хочу.

– Да чего это вы из кожи лезете показать мне всю вашу институтскую пустоту? Раз вы уже более откровенны, чем это даже требуется в данном случае, то скажите по правде: вы, вероятно, думаете всеми этими словами уязвить меня, причинить мне боль? А между тем вы одна будете в накладе, если уедете с такой пустой головой... Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.

Этот ответ меня и переконфузил, и разобидел, и я, еле сдерживая рыдания, начала жаловаться ему на то, что теперь взять меня из института уже невыносимо. Моя мать не может приехать за мной, следовательно, я вынуждена буду жить в семье дяди, а он находит, что я слишком молода, чтобы вывозить меня на балы, точно я просила когда-нибудь его об этом. Несчастнее меня нет человека на свете! Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы выразить желание повидать меня, обнять родную дочь после долгой разлуки, только в восторг приходит от того, что я могу продолжать свое учение.

– Вы не имеете ни малейшего нравственного права так говорить о своей матери! Это, знаете ли, даже совсем нехорошо с вашей стороны! Я читал ее письмо к вам и сам получил от нее недавно письмо (я узнала потом от матери, что она благодарила его за хлопоты о стипендии для меня) и нахожу, что она на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, поцелуев, объятий и всех этих дешевых сантиментов она горячо высказывает одно желание – чтобы ее дочь была образованной девушкой, чтобы она училась и трудилась.

Мое злобное настроение против Ушинского как-то сразу рассеялось, и мне вдруг страшно захотелось узнать, что он ответит на один мой вопрос.

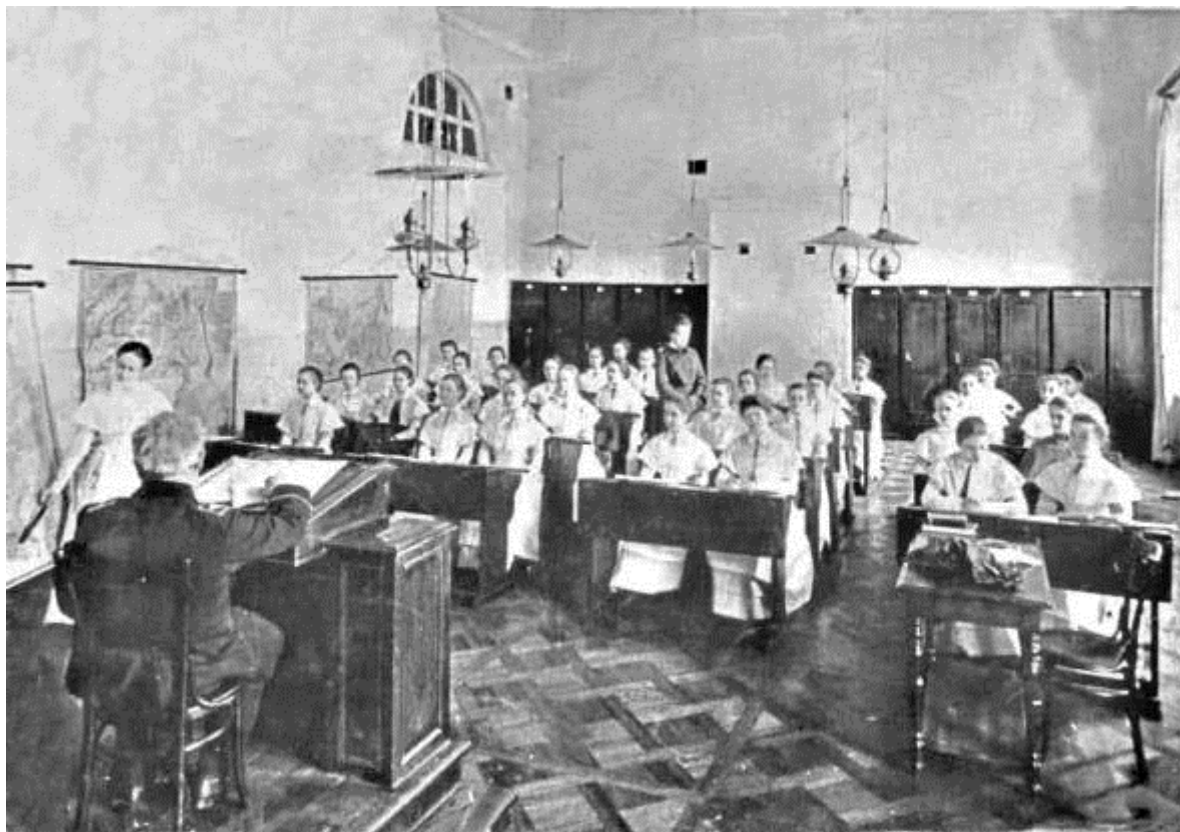
– Когда вы прочли письмо моей матери... (я вам отдала его по рассеянности). Она так превозносит вас... вы могли подумать, что она к вам подлизывается...

Ушинский расхохотался.

– Ну, казните меня. Право же, невысказанно оставаться серьезным, слушая иногда, как вы выражаетесь! Уверю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Я уже говорил вам, что я лучшего мнения о ней по ее письмам, чем ее родная дочь. А вот за вашу заботу о моей нравственности, – ведь вы боитесь, чтобы похвалы не вскружили мне голову, – я приношу вам глубочайшую благодарность... Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы останетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние! Так принимайтесь же за чтение! Я захватил для вас восьмой том Белинского и несколько томов Пушкина... Окажите мне маленькое доверие. Начинать сейчас же читать «Евгения Онегина», а затем немедленно прочитайте критику Белинского на это произведение. Так читайте и остальные сочинения Пушкина. Я бы желал также, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.

Как мне было совестно всего того, что я наговорила Ушинскому! Мне так хотелось просить его простить меня за все мои глупости, но порыв отчаяния прошел, а вместе с этим улетучился и подъем смелости, когда я только и могла говорить все, что мне приходило в голову. Мною овладела обычная конфузливость, и я знала, что, если бы в эту минуту встретила Ушинского, я бы не решилась произнести ни одного слова. Мое волнение быстро улеглось уже потому, что мне удалось высказать все, что меня так смущало. Этому душевному умиротворению помогло и чувство благодарности, и надежда, что при Ушинском все в институте изменится к лучшему. «Наконец-то и в этой казарме, – думала я, – появился человек, который действительно заботится о нас, с которым можно поговорить и посоветоваться, который, несмотря на мои пошлые выходки, не только не отвернулся от меня, но поспешил даже оказать новую услугу, – и при этих мыслях теплая струйка крови прилила к моему сердцу и согрела его. – Что из того, что меня не интересует чтение, – думала я. – Ушинский сделал для меня все, что мог, и я оказалась бы неблагодарной, если бы не исполнила немедленно его желания».

Хотя вновь устроенный класс именовался теоретически-специальным, но это было не совсем точное название: кроме естествознания, физики и педагогики, в нем проходили курс наук по программе среднеучебных заведений, но в более расширенном виде, чем в нашем прежнем выпускном классе. К тому же из этого седьмого класса желающие могли переходить в специальный класс, где во второй год своего пребывания воспитанницы должны были обучать детей кофейного класса под руководством учителей. Воспитанницы, оставленные во вновь сформированном классе, в числе которых была и я, поступая на новые курсы, переходили, собственно, в седьмой класс, но в ту минуту он не мог так называться потому, что при прежнем делении не было шестого класса.



Смольный институт. Девочки на уроке.

«Самая важная часть воспитания – образование характера»

(Константин Ушинский)

Относительно воспитанниц, очутившихся в совершенно новом положении, то есть не вышедших из института по собственному желанию, не было установлено никаких правил: выпуск был в марте, а занятия в седьмом классе должны были начаться не ранее как через месяц, да и это не было еще точно определено. Какие классные дамы должны были руководить этими воспитанницами, что они должны были заставлять их делать до начала занятий, на это не было получено никаких инструкций. Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не вменено им в обязанность. И действительно, они не обращали на нас ни малейшего внимания, «Пусть их околачиваются как знают», – говорили они про нас, и мы в полном смысле слова околачивались: кто из нас сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.

Времени для чтения было много, и я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и большую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с татап, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня так много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть и некоторая потребность протеста, заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!» Хотя я заметила, что татап как-то особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и

завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно так же набросились на чтение.

Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из своей библиотеки.

Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочесть нам что-нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час, и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.

Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям.

– Вы должны, вы обязаны, – говорил он, – зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе прежде всего любовь к труду, – без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы не даром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-помалу будет открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех... Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он не фразер и не болтун, если у него не дряблая натурашка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, *следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.*

От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь и какою она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери – медведица, волчица – защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным телом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, *только* о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его милovidнее, – они играют с ним, как дитя с игрушкой. Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ^[38], – «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как

машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, недопивая и недоедая, погруженный во мрак невежества и нищеты».

Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных людей, но тогда (1860 год), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слышавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.

Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского, – бледный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною и притом лишь в главных чертах.

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкой страстностью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы.

Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и пронизательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В. М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видал Ушинского хотя раз, навсегда запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.

Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере, в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.



Скульптура К. Ушинского, установленная в конференц-зале Академии педагогических наук СССР в Москве

Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее все шло от Ушинского и через него: он был наставником и руководителем не только для нас, но и для

приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное, жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.

И теперь еще, каждый раз, когда мой взор встречается портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.

С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узкоэгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.

Глава VI

Преобразования в институте

Деятельность Ушинского. – Отношение учащихся к новшествам. – Перемена взглядов воспитанниц. – Блестящий успех реформ. – Речь Ушинского по поводу освобождения крестьян. – Воскресные занятия с горничными. – Клевета и доносы. – Реакция. – Выход Ушинского в отставку

Если я начну рассказывать о том, какое оживленное время переживали мы, когда к нам приглашены были новые преподаватели, читатель, конечно, придет к выводу, что Ушинский был талантливым педагогом, разумным реформатором и энергичным организатором, но это будет еще слабой оценкой его деятельности, и притом останется совсем невыясненным вопрос, как могла сложиться такая крупная сила, откуда он мог приобрести столь всестороннее образование, каким образом мог он стоять по своим педагогическим идеям, совсем незнакомым тогда русскому обществу, на одном уровне с величайшими педагогами западноевропейских культурных стран? Чтобы это понять, нужно познакомиться хотя с главными моментами его предшествующей деятельности.

В 1840 году Ушинский поступил на юридический факультет Московского университета и, несмотря на то что ему было тогда лишь шестнадцать лет, начал заниматься очень серьезно, но особенно увлекался он лекциями Грановского и Редкина, профессора энциклопедии законоведения^[39] и государственного права. Редкин прочел своим слушателям ряд блестящих лекций по истории философии права, которые произвели на Ушинского потрясающее впечатление, и он со всем пылом страсти отдался изучению философии.

Уже с самого вступления в университет Ушинский обратил на себя внимание как своих товарищей, так и профессоров. Обладая большим природным умом, остроумием, быстрым соображением и изумительной памятью, он не только легко усваивал основную мысль лекции, но и ее подробности. Те из его товарищей, которым плохо давались наиболее трудные философские и юридические теории, обращались к Ушинскому с просьбой излагать

им эти лекции в популярной форме. Это очень рано приучило его к популяризации науки и оказало ему впоследствии, когда он окончательно сделался педагогом, огромную услугу.

В свободное от лекций время он весь уходил в чтение русских писателей и изучение французского и немецкого языков, которые он знал еще раньше, но не настолько основательно, чтобы легко читать иностранных классиков в подлиннике; этого он вполне достиг во время университетского, курса.

Уже на университетской скамье Ушинский отличался полнейшею независимостью характера и привычкою высказывать откровенно свои убеждения, не обращая внимания на то, как это будет принято. Он был отъявленным врагом всякой пошлости, всякого заискивания и низкопоклонства и беспощадно казнил своими меткими сарказмами тех из товарищей, которые ввиду приближающихся – экзаменов ездили к профессорам с визитами и поздравлениями.

Ушинский много тратил времени на уроки, которые давал ради заработка. Лихорадочно-трудовая жизнь, полная научных и литературных интересов, послужила прекрасною школой для выработки твердого характера и сильной воли, уменья много и упорно работать.

Через два года после блистательного окончания университета, имея от роду всего лишь 22 года, Ушинский получил профессорскую кафедру в ярославском Демидовском лицее, где читал лекции энциклопедии законоведения, истории законодательств и финансового права и обратил на себя внимание не только как талантливый лектор, но и как человек с самостоятельными, оригинальными взглядами.

После четырех лет профессорства, то есть в 1850 году, ему пришлось навсегда оставить лицей. То были тяжелые времена сурового николаевского режима, особенно подавлявшего преподавание в высших учебных заведениях. От преподавателей лицея потребовали, чтобы они представили подробные программы читаемых ими лекций, притом не только с распределением курсов всех предметов по дням и часам, но и с точным указанием того, что они намерены цитировать из того или другого автора. Ушинский же доказывал, что преподавание вообще, а тем более научное, «невозможно связывать такими формальностями», а потому и вышел из лицея.



Семейный портрет. К. Д. Ушинский, Н. С. Дорошенко (Ушинская), дети (слева на право); Павел (1852), Владимир (1861), Константин (1859), Вера (1855), Надежда (1856).

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас»:

(Константин Ушинский)

Перебравшись в Петербург, Ушинский вынужден был сделаться чиновником министерства внутренних дел. Хотя эта служба вознаграждалась крайне скудно, но давала ему много досуга, и он, по обыкновению, с жаром принялся за работу. В это время он изучил английский язык, занимался английской литературой, продолжал прежние занятия по философии и юридическим наукам. Результатом этих занятий и изучения трех иностранных языков был целый ряд самостоятельных трудов, а также и компилятивных статей в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения». Кроме журнальной работы, Ушинский принимал участие в переводе политической экономии Милля^[40]. Его труды обратили на себя

внимание публики и критики, и за ним упрочилась репутация талантливого и образованного писателя.

В 1855 году Ушинский был назначен преподавателем словесности и законоведения в Гатчинский сиротский институт, а затем и его инспектором. Здесь ему представилось огромное поле для применения своих педагогических способностей. Гатчинский институт состоял из учеников различных возрастов, начиная от детей, обучавшихся азбуке, и кончая высшими классами с курсом законоведения. Ушинский тут впервые понял, что педагогическая деятельность – его главное призвание. Этому более всего содействовало то, что, осматривая библиотеку заведения, он наткнулся на два запечатанных шкафа с значительным собранием педагогических сочинений.

Как только эта библиотека оказалась в его распоряжении, он весь погрузился в изучение педагогической литературы. Наряду с теоретическим изучением педагогики, он приобрел опытность и в практике воспитательного дела: ему не только приходилось следить за преподаванием учителей, но он и сам обучал огромное количество юношей. Этим, однако, не ограничивалась его тогдашняя деятельность: он в то же время писал педагогические статьи и начал заниматься одним из главных своих трудов для первоначального обучения – «Детским миром», напечатанным несколько позже^[41].

Таким образом, когда Ушинский в 1859 году был приглашен инспектором в Смольный, он уже пользовался некоторою литературною известностью, обратил на себя внимание улучшениями, сделанными в учебной части Гатчинского института, и был на редкость основательно вооружен знаниями и педагогическим опытом.

Облеченный полным доверием императрицы Марии Александровны, пожелавшей не только оживить преподавание в институте, но и обновить устарелый учебный строй, Ушинский написал проект преобразования обоих институтов Смольного, утвержденный в феврале 1860 года. По одному из его пунктов требовалось, чтобы воспитанниц переводили из класса в класс не раз в три года, как это было до тех пор, а каждый год. До нового проекта воспитанница по окончании каждого трехлетнего курса, как бы плохо ни училась, все-таки переводилась в следующий, то есть в старший класс. При прежней системе и не могло быть иначе: невозможно было даже крайне плохую ученицу оставлять еще в младшем классе, – тогда бы ей пришлось шесть лет пробить только в одном кофейном классе. Неизбежным следствием такого порядка вещей было то, что плохие ученицы, ничему не научившись в младшем классе, переходили без всяких элементарных знаний в старший класс, в котором они приобретали еще меньше знаний и выходили из института круглыми невеждами. По проекту Ушинского курс учения на обеих половинах Смольного должен был продолжаться семь лет (до этого на Николаевской половине он продолжался девять, на Александровской – шесть лет). Преимущество семилетнего курса заключалось в том, что при ежегодных экзаменах и переходах из класса в класс это давало возможность малоуспешных воспитанниц оставлять еще на год в том же классе, чтобы они могли пройти то, что ими было упущено.

Учебные программы точно так же не только подверглись полному преобразованию, но введены были даже новые предметы, как, например, естествоведение и физика, которые должны были преподаваться не иначе, как с помощью моделей, чучел, рисунков, приборов, опытов. Я называю эти предметы новыми потому, что хотя в некоторых институтах их и преподавали, но большею частью на французском языке и притом без каких бы то ни было пособий и опытов, – одним словом, их преподавание скорее походило на пародию, на карикатуру, а не на преподавание естественнонаучных предметов.

Серьезное внимание было обращено на языки и географию. Теперь, когда программы, выработанные Ушинским, в своих основных чертах приняты во всех средних женских учебных заведениях, когда они вошли, можно сказать, в плоть и кровь преподавателей, они, конечно, никого не поразят своею новизною, но тогда они произвели полный переворот в

учебном деле, и все высказываемое Ушинским по этому поводу, как в его статьях, так и в различных педагогических совещаниях, было новостью. Так как далеко не все намеченное Ушинским было принято и сохранилось в программах женских учебных заведений, то я и упомяну здесь кое о чем, что он считал существенным. Он находил необходимым сильно увеличить число уроков русского языка в младших классах: по его понятиям, учитель русского языка не должен ограничиваться преподаванием грамматики, а обязан давать ученицам ясное представление об окружающем, научить их рассуждать о знакомых предметах и правильно выражать свои мысли. Благодаря Ушинскому впервые заговорили о необходимости давать учащимся *право рассуждать и даже вменяли учителю в обязанность научить их этому*. Ушинский находил необходимым в среднем возрасте упражнять учениц в переводах с иностранных языков на русский, выбирая для этого очерки географического и исторического содержания. Он указывал, какой вред приносили прежние сочинения, в которых воспитанницы выставляли чувства, никогда не испытанные ими, или описывали явления природы, которых они никогда не наблюдали, либо высказывали мысли слишком сложные и отвлеченные для юного возраста. Переводы с иностранных языков Ушинский считал для воспитанниц младшего возраста наиболее полезным упражнением. Но он вовсе не рекомендовал избегать и сочинений, а указывал на необходимость того, чтобы ученицы передавали в них виденное, слышанное или прочувствованное ими.

Ушинский чрезвычайно порицал тогдашнее преподавание словесности: оно почти всюду начиналось с определения родов и видов литературных произведений. Он указывал, что сначала необходимо изучать образцы каждого рода и вида этих произведений и уже на основании такого изучения составлять понятия о них. Возмущался он и преподаванием литературы, состоявшим из перечня имен писателей и краткого изложения их произведений. Он находил, что учитель обязан зорко следить за тем, чтобы ученица прочитывала целиком каждое классическое произведение и давала о нем подробный отчет то устно, то письменно; и только после этого, по его мнению, необходимо развивать критический взгляд на произведение, побуждая воспитанниц высказывать и собственное мнение. Он требовал также, чтобы их знакомили со всеми выдающимися произведениями не только русской, но и иностранной литературы.

Ушинский придавал огромное значение изучению иностранных языков, но находил мало толку в том, как оно до тех пор велось в институте. Практическое знание языков он считал делом второстепенной важности, а главное значение его видел в том, чтобы учащиеся могли свободно понимать и переводить прочитанное.

Учебные предметы распределены были по классам тоже совершенно иначе, чем прежде, – изменена была и продолжительность уроков: полуторачасовые уроки были заменены часовыми, с переменою в пятнадцать минут для отдыха, что было несравненно менее утомительно для слушательниц. В то время все вообще учебные программы чрезвычайно устарели, а программы женских средне-учебных заведений – тем более. Таким образом, Ушинский явился инициатором постановки как общей программы преподавания, так и распределения предметов по классам.

Ушинский находил, что поручить проведение реформ прежним учителям было немислимо: сжившись с устарелыми методами преподавания и будучи в большинстве случаев людьми консервативными, они стали бы выполнять новые программы обучения на старый лад, чисто формально, и тогда его проект преобразования всего учебного дела, над которым он так много трудился, остался бы мертвою буквою. Он был глубоко прав. Его учебные программы (в главных основах) были приняты и в других институтах, но так как они применялись на практике большею частью прежними учителями (кроме вновь введенных предметов, для которых волею-неволею пришлось пригласить новых учителей), воспитанницы других институтов и не пережили той лучезарной поры умственного обновления и расцвета, которую переживали мы, институтки Смольного. Новые учебные программы у нас проводились в жизнь новыми учителями, выбранными Ушинским, под непосредственным

наблюдением и руководством этого величайшего русского педагога. К тому же он сам своими собственными лекциями, беседами, разговорами, даже своею личностью, преисполненною пламенною, кипучею страстью к общественной просветительной деятельности, производил полный переворот в нашем миросозерцании, поддерживал наше стремление к занятиям и наш необычайный умственный подъем.



Портрет К. Д. Ушинского. Автор неизвестен.

«Право на счастье составляет самое неотъемлемое право человека»

(Константин Ушинский)

Ушинский смотрел на выбор новых учителей как на задачу чрезвычайно ответственную: от этого зависела вся будущность обновления преподавания. Тут необходимо было все предусмотреть, все предвидеть: новые преподаватели должны были не только знать свое дело и быть более или менее талантливыми педагогами, но должны были явиться истинными сотрудниками и товарищами Ушинского. Вместе с ним они должны были представлять одну семью, объединенную одними и теми же прогрессивными интересами, вполне ясно и отчетливо сознавать вред рутинного преподавания, выработать с помощью своего руководителя определенный взгляд на преподавание, соответствующий требованиям науки.

У Ушинского было много знакомых в учительской среде, но нужных для себя людей он искал всюду. Чтобы познакомиться с преподаванием как можно большего числа учителей, он усиленно посещал различные лекции, слушал преподавание не только в среднеучебных заведениях, но и в элементарных школах. Так, он приехал однажды в Таврическую бесплатную школу, прослушал урок Косинского, подметил в нем опытность и талантливость в преподавании геометрии и пригласил его преподавателем в институт. Не стесняясь ни летами, ни дипломами, ни социальным положением, Ушинский приглашал каждого учителя, у которого находил то, что ему было нужно. При своих основательных научных знаниях, при исключительной педагогической талантливости, при настойчивости характера, он отличался еще удивительным умением быстро разгадывать способности ближнего. Все это помогло ему найти действительно подходящих сотрудников. Из привлеченных им новых преподавателей назову лишь тех, которые так или иначе оставили след в общественной жизни, в преподавании или в литературе: Я. П. Пугачевский – преподаватель физики, Н. И. Раевский, М. И. Семевский, Д. Д. Семенов, Л. Н. Модзалевский, В. И. Водовозов, О. Ф. Миллер, Г. С. Дестунис, молодой священник-академик^[42] Головин и другие.

Объединив новых учителей в тесный дружеский кружок, всею душою преданный делу обновления преподавания, Ушинский устроил *учительские конференции*, чего никогда не существовало в стенах Смольного. На них обсуждалось применение новых программ и способов обучения, и делалось это с главной целью установить единство преподавания во всех предметах. Здесь же Ушинский давал советы и делал замечания учителям относительно только что прослушанных им лекций и занятий в классе.

Объединение учителей и живая связь между ними и инспектором поддерживались и журфиксами, устроенными Ушинским у себя по четвергам, на которые у него, кроме различных писателей, собирался тот же учительский кружок. Тут в приятельской беседе, запросто, они передавали друг другу свои мнения о способностях учениц и их суждения по поводу изучаемых ими исторических личностей и героев классических произведений, толковали и спорили о литературных, научных и политических новостях.

Таким образом, Ушинский сделался истинным вождем, духовным отцом и руководителем новых учителей. Нет ничего мудреного в том, что они оказались на высоте своего положения. Характер их преподавания был действительно диаметрально противоположен существовавшему прежде в Смольном. Вместо отрывочных знаний, сухо изложенных отвлеченным или высокопарным слогом, получился живой систематический курс.

Ушинский рекомендовал ученицам записывать лекции за учителями. При новой системе преподавания избежать этого было довольно мудрено. Каждый учитель приносил с собою все, что было напечатано по его предмету наилучшего и популярного. Составляя лекцию того или другого учителя, слушательницы должны были пополнять её прочитанным из указанных им книг. Так мы начали работать не только у преподавателя литературы В. И. Водовозова, но и у преподавателя географии Д. Д. Семенова, русской истории М. И. Семевского и у некоторых других. Если принять во внимание, что по каждому предмету воспитанницам приходилось чрезвычайно много читать и все прочитанное

приводить в порядок, набрасывать конспекты и составлять лекции, то можно сказать без преувеличения, что при Ушинском мы работали совсем не по-институтски.

У нас шла до невероятности напряженная, лихорадочная работа. Каждую лекцию по очереди должны были составлять пять-шесть воспитанниц; остальные делали то же по другим предметам, а между тем в послеобеденное время каждой приходилось готовить еще уроки по двум, а то и по трем предметам, вот почему большая часть девушек работала и по ночам. Самую лучшую работу учитель прочитывал в классе. Если воспитанница почему-нибудь не могла составить лекцию, она заявляла об этом учителю и должна была заняться ею в следующий раз. Никто не заподозривал ее в лености: работали прежде всего потому, что явился живой интерес к знанию, охвативший все наши душевные силы, все наши помыслы, но нельзя, конечно, отрицать и того, что известную роль здесь играли и соревнование, и боязнь осрамиться перед новыми учителями.

Когда к пяти часам кончались занятия с учителями и после обеда возвращались в класс, мы немедленно принимались за работу. Классным дамам не приходилось бранить нас ни за шум, ни за беготню по коридорам: в классе стояла полная тишина, прерываемая только шелестом переворачиваемых страниц и скрипом перьев. Такая же напряженная деятельность продолжалась и после чая, когда мы приходили ложиться спать. Как только классная дама уходила в свою комнату, мы снимали передники и платья и, закутавшись в платки, свертывали свои салопчики, клали их на пол у кроватей и садились на них. На наших матрацах мы размещали книги и карандаши, укрепляли свечку в самодельный подсвечник из картона и принимались за дело. Хотя в дортуаре стоял большой стол и скамейки, но они помещались у того конца спальни, где находилась комната дамы; к тому же лампы гасили к десяти часам, и мы не имели права сидеть дольше. Если бы посторонний человек вошел ночью в дортуар, когда над кроватями торчали головы воспитанниц, склоненные над книгами, когда здесь и там уныло мерцали огоньки огарков, он мог бы подумать, что попал в какую-нибудь капеллу, где богомолки молятся у гробов с мощами.

Иметь свечку для ночи сделалось первою заботою. Наиболее услужливые из подруг каждый вечер разрезали перочинным ножом свою свечку на несколько частей и раздавали неимущим. Чуть, бывало, ночью раздастся шум из комнаты классной дамы – мы моментально тушим огни и полураздетые бросаемся в кровать, под одеяло. Ни усовещивания классных дам, ни их брань за ночные бдения не могли уничтожить этого нового обычая.

Можно себе представить, как дико было классным дамам, получившим воспитание в том же институте и прослужившим в нем по многу лет, смотреть на все то новое, что делалось тогда в институте! Лекции некоторых учителей воспитанницы обращали в живую беседу с ними, беспрестанно вставали с своих мест, спрашивая их то о том, то о другом.

– Зачем понадобилось Лермонтову загрязнить образ поэтической Бэлы («Герой нашего времени»)? Он не должен был представлять ее так, что ради любви к Печорину она готова отказаться от родины и веры! Нравственная обязанность человека всегда оставаться патриотом, – заявляет одна.

– Для любимого человека, – срывается с своего места другая, – можно все принести в жертву!

– Для такого, как Печорин, ничем не следует жертвовать: он бездушный эгоист... Таких, как он, следует выгонять из России!

– Но он самый привлекательный человек на свете!..

– Да побойтесь же вы бога, господин учитель! Неужто о таких вещах вам дозволено рассуждать с воспитанницами, совсем еще девочками? – в ужасе обращается дежурная дама к учителю литературы.

– Да... да... пожалуйста, не мешайте! Это прекрасно, что они высказывают все, что думают! – простодушно отвечает учитель литературы и, не вступая в дальнейшие пререкания с классною дамою, переходит к обсуждению высказанного. Правда, нередко высказывались мнения до невероятности детские, даже дикие, но иными они и не могли быть у воспитанниц закрытого заведения. Учителя не только терпеливо, но даже с интересом выслушивали и обсуждали все, высказанное каждою из нас.



Шифр для лучших выпускниц Смольного института

Однажды Ушинский пришел на урок Д. Д. Семенова и взял со стола тетрадь, в которой был написан очерк о Белоруссии, составленный одною из воспитанниц, – как по его лекции, так и по материалам, им доставленным. Ушинский отошел читать к окну, а Семенов вызывал учениц и спрашивал их из только что у него пройденного. Ушинский от времени до времени прекращал чтение и прислушивался к бойким ответам учениц. Когда раздался звонок, мы окружили их обоих плотною стеною и начали живо болтать с ними, не обращая внимания на присутствие классной дамы.

– Я никогда не сомневался, что при новой системе преподавания вы будете делать успехи... Но вы превзошли мои самые смелые ожидания! Я знаю, какого труда это стоит вам без привычки к усидчивой работе!.. – растроганно говорил Ушинский, тороватый на порицание, но очень скупой на похвалу.

Несмотря на работу, требующую большой затраты сил, мы не хворали. Правда, две воспитанницы из нашего класса сильно отставали от подруг, но одна из них всегда была болезненною и малокровною, а у другой умственное развитие шло вперед вообще весьма медленно. Ее фамилия была Быстродумова, и уже в дореформенное время она получила кличку Тиходумовой. В высший класс она попала случайно: перед выпуском она умоляла Ушинского оставить ее в седьмом классе, но он не соглашался, ссылаясь на то, что хотя по отметкам она числится не из последних, но все же в высшем классе ей трудно будет учиться. Настойчивые мольбы Быстродумовой в конце концов заставили его исполнить ее просьбу.

Девочка употребляла всевозможные усилия, чтобы не отставать от подруг, но стала прихварывать, часто жаловалась на головную боль, по неделям лежала в лазарете. Ее ответы учителям и особенно письменные работы были сравнительно с другими довольно плохи. Но сила влияния Ушинского отразилась и на ней. Года через три после нашего окончательного выпуска Ушинский как-то приехал ко мне и рассказал следующее: гуляя по улице, он прочел на одной из вывесок «школа» и вошел в нее послушать урок, который уже начался. К нему вышла какая-то женщина, но он не спросил у нее фамилии учительницы, которая продолжала свою в высшей степени оживленную беседу с ученицами. Когда окончился урок, учительница (это была Быстродумова) повернулась в сторону Ушинского и вскрикнула от удивления, затем бросилась к нему и разрыдалась.

На другой день он получил от нее письмо, в котором она говорила, что накануне была взволнована неожиданною встречей с ним и не могла высказать свою признательность за все то добро, которое он ей сделал. Между прочим, она писала, что если бы не его влияние, она после выпуска продолжала бы жить так же, как и вся молодежь в семьях ее родственников, мелких чиновников, где девушки ведут борьбу с родными не за право учиться, как в других современных семьях, а за право приобрести новую тряпку, чтобы пленить сердце чиновника, и продолжать такое же постылое существование, какое они вели в родительском доме. «И меня ожидала та же участь: ведь институт до Вашего вступления в него не возбуждал более чистых стремлений»...

Но я забежала далеко вперед. Нравственный облик институток совершенно изменился. Сами мы не замечали в себе перемены, кроме того, конечно, что прежде некоторые из нас зубрили уроки, другие решительно ничего не делали, а теперь все работали серьезно, многие даже с страстным увлечением. Не так относились к этому наши родственники: то одна, то другая воспитанница сообщала подругам, что ее брат, отец или мать поражаются происшедшей с нею переменой, говорят, что она стала серьезнее, мягче, благоразумнее. Их изумляло, между прочим, и то, что еще недавно их «институточка», не находившая темы для разговора с ними в часы свиданий, оживленно рассказывала им теперь о том, что она читает, забрасывала их вопросами, просила, вместо того чтобы купить ей духи, достать ей те или другие книги. Традиционное обожание исчезло, как по мановению волшебного жезла: никто из воспитанниц не вырезал на руках перочинным ножом инициалов имени того или другого учителя, никто не выкрикивал глупых слов обожания, никто не обливал их одежду духами. Даже Ивановская, проникнутая общим настроением, не высказывала более своих восторгов относительно «неземной красоты» Ушинского. Обожание казалось нам теперь уже чем-то пошлым и неуместным. Вместо него у нас явилась родственная, духовная связь с учителями и самое дружеское отношение к ним. Мы искали встречи с ними, чтобы поболтать, и бежали к ним в каждую перемену между уроками. В наиболее либеральный период нашей жизни некоторые из учителей приходили даже в сад побеседовать с нами, передавали нам содержание виденных ими в театре пьес, знакомили нас с игрою известных артистов, с явлениями общественной жизни и со стремлениями лучшей части общества. Конечно, все это было крайне отрывочно, но все же будило нашу мысль, усиливало интерес к духовной жизни.

Однажды веселая ватага воспитанниц, среди которой раздавались шутки и смех, прогуливалась в саду с учителем литературы, называя его по имени и отчеству, что прежде было немислимо. Он также, обращаясь к ним, называл их по имени и отчеству. В эту минуту воспитанницы поравнялись с двумя классными дамами – Лопаревой и Тюфяевой, проходившими мимо с противоположной стороны.

– Боже, по именам называют! Скажите мне, скажите, что я ошиблась! – воскликнула m-lle Лопарева, склонная к сентиментальности, с ужасом хватая товарку за руку.

– Не ошиблись, моя милая, не ошиблись!.. Если они по канатам станут скакать с этими совратителями и со своим шалым инспектором, то и это меня уже больше не удивит... – отвечала Тюфяева.

Кратковременная эпоха реформ в Смольном была самым светлым воспоминанием нашей юности, нашей институтской жизни, только порою отравляемой злобным шипением классных дам, всеми силами души возненавидевших Ушинского и новых учителей.

Однажды императрица Мария Александровна посетила институт и долго разговаривала с Ушинским. Это убедило наше начальство в том, что государыня продолжает благосклонно относиться к нему. На первый же институтский бал после этого были приглашены Ушинский и все учителя, – этого никогда еще не бывало у нас и едва ли могло быть без ведома императрицы.

Все это лишь усиливало злобу классных дам; раздражало их и то, что наша инспектриса продолжала дружить с инспектором. Классные дамы, еще недавно игравшие в институте доминирующую роль, сразу потеряли свое значение; вследствие этого они крепче сплотились между собой, держались как-то особняком и за свое унижение мстили пока одной только фразой, которую они частенько повторяли, вкладывая в нее и озлобленные вопли своего сердца, и угрозы по нашему адресу, и все свои злорадные надежды на будущее: «Недолго, недолго это продлится!..»

Наступил 1861 год. Когда Положение 19 февраля было обнародовано^[43], у нас отслужили молебен. Через несколько часов после возвращения из церкви вошел Ушинский и заявил, что он желает объяснить нам значение этого великого акта. В блестящем, популярном, сжатом очерке он набросал картину жизни помещиков во время крепостного права, познакомил нас с тем, как они забавлялись, сменяя пиры охотами и другими барскими затеями, указал и на жестокость многих из них к своим крепостным. Считая позором трудиться, рассказывал он, помещики сами или через управляющих обременяли своих крестьян непосильным трудом, оставляя их влачить жалкую жизнь, полную жестоких лишений, погруженных в беспросветный мрак невежества и унижительного рабства. Заключительный аккорд этой блестящей речи состоял в том, что акт освобождения крестьян налагает на всех нас обязанность уплатить им хотя ничтожную часть нашего долга. За наше образование, за возможность жить безбедно, за блага, приобретенные на счет векового рабства масс, мы, чтобы искупить тяжелый грех многих поколений, должны отдать все свои силы на просвещение народа. «И каждый, у кого в груди не камень, а сердце, искренно откликнется на этот призыв!» По словам Ушинского, с этого момента все обязаны нести в народ свой труд, знания и таланты, а на русских женщин наступившая эпоха освобождения налагает еще особую обязанность – раскрепоститься от предрассудков, специально тяготеющих над ними. Еще не так давно у нас не находили нужным даже учить женщину грамоте, но и теперь в семьях людей образованных, там, где считают необходимым давать высшее образование сыну, дочь учат как попало и кой-чему. И все, даже сами женщины, находят такой порядок вещей нормальным. Быть наставницею молодого поколения – великая и благородная задача, но в то же время в высшей степени трудная и сложная. Выполнить ее с успехом женщина может, только основательно вооружившись серьезными знаниями. Следовательно, женщины, так же как и мужчины, должны получать высшее образование. «Вы обязаны, – говорил он, – проникнуться стремлением к завоеванию права на высшее образование, сделать его целью своей жизни, вдохнуть это стремление в сердца ваших сестер и добиваться достижения этой цели до тех пор, пока двери университетов, академий и высших школ не распахнутся перед вами так же гостеприимно, как и перед мужчинами». Нужно помнить, что Ушинский говорил это еще в 1861 году.

Во время моего знакомства с Ушинским после выпуска, какие бы разговоры и споры он ни вел в кругу своих знакомых, мне никогда не приходилось слышать, чтобы он высказывал идеи социалистические или радикально-политические: он всегда и всюду являлся лишь

страстным поклонником, сторонником и пропагандистом просвещения вообще и распространения его среди простого народа в особенности, а также проповедником широкого образования женщин. Лишь в достижении женщиною высшего образования он видел альфу и омегу женского равноправия, его конечную цель и предел. Такими взглядами на женский вопрос были проникнуты в то время лишь наиболее прогрессивные люди русской интеллигенции; сами женщины, даже и наиболее передовые из них, под равноправием подразумевали тогда одинаковое с мужчинами право на высшее образование, а также и право на самостоятельный заработок.

Недели через две после своей речи Ушинский сообщил, что у нас будет открыта школа грамоты для горничных и что воспитанницы седьмого класса, желающие обучать их, могут заниматься с ними по воскресным дням. Все с восторгом выразили желание учить.

В одно из воскресений после молебна, на котором присутствовали все наши горничные, воспитанницы приступили к занятиям с ними. Ушинский подходил к каждой скамейке и внимательно прислушивался к преподаванию молодых учительниц, а по окончании занятий указывал промахи в их приемах обучения. Таким образом, новая воскресная школа приносила пользу и воспитанницам и горничным.

Мне не раз приходилось слышать мнение, что Ушинский был главным вдохновителем идеи о необходимости нарушить замкнутость институтов, но это совершенно несправедливо. В 1858 году, когда он не был еще инспектором Смольного, уже появлялись статьи в журналах и подавались отчеты членами институтских советов, в которых, между прочим, подчеркивалось, что институтки совершенно утрачивают чувство семейной привязанности, указывалось на тяжелые последствия отчуждения детей от родителей, на непригодность институток к действительной жизни^[44].

В отчетах инспекторов по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии^[45] то и дело встречались указания на вред женских закрытых заведений для здоровья воспитанниц. Одним словом, со второй половины XIX столетия институтское затворничество начало повсеместно встречать неодобрение, и все большее число лиц высказывалось за необходимость хотя изредка отпускать институток домой. Наконец в 1862 году императрица Мария Александровна дала на это разрешение, но лишь в виде опыта в течение двух лет, а по прошествии этого времени было окончательно раз навсегда установлено правило отпускать домой воспитанниц на лето, а также в рождественские и пасхальные дни.

Нашу воскресную школу для горничных скоро закрыли по неизвестной нам причине^[46], но, будь мы поопытнее, мы поняли бы, что это было первым признаком наступившей в институте реакции. Очевидно, подул не тот ветер, который год тому назад принес нам освежающую струю чистого воздуха. И что-то странное началось у нас твориться.

По окончании классных занятий то одна дама, то другая забегала к своей товарке, отзывала ее в сторонку и оживленно перешептывалась с нею. Нередко обе они усаживались за столик и передавали друг другу новости с явным желанием, чтобы воспитанницы их слышали. «Этот гамин (уличный мальчишка), этот прохвост осмелился не отдать мне поклона», – сообщала одна из них. Другая отвечала ей, что «этот негодяй» так нагло посмотрел на нее вчера, а m-He Лопаревой он даже засмеялся в лицо, что же касается m-He Носович, то он не извинился перед нею даже тогда, когда толкнул ее при встрече... Фамилию преступника дамы не называли, но мы догадывались, что дело идет о ком-нибудь из молодых учителей.

Несомненно, что все эти новости были пошлою выдумкою: классных дам возмущало не только то, что они постепенно утрачивали свое значение, но и то, что от новых учителей они не видели галантной предупредительности и расшаркивания перед ними, к чему они так привыкли при прежних учителях. Еще более возмущало их то, что когда во время урока одна из них начинала войну с воспитанницею, то есть отнимала у нее какую-нибудь бумажонку,

учитель прекращал чтение лекций и не произносил ни слова до тех пор, пока она не садилась на свое место. Ушинский первый предъявил требование, чтобы в классе ни воспитанницы, ни классные дамы не нарушали тишины. После его столкновения с Тюфяевой никто из классных дам не осмеливался более мешать ему: с ним считались и его побаивались. Более или менее сдерживали они себя и во время занятий учителей во весь первый год. Но как только появились первые признаки реакции, классные дамы начали придирааться к воспитанницам, имея в виду прежде всего раздражить этим учителей, а через них насолить и Ушинскому. Они то и дело начали вставать со своих мест во время уроков и расхаживать между скамейками. Как только воспитанница передвигала машинально книгу или тетрадь, дама громко бранила ее за это, тянула к себе с пюпитра что попало, обдергивала ее якобы за небрежный туалет и т. п. Вражда раздувалась все сильнее и разделила наконец все население института на два лагеря: на одной стороне стояли преподаватели с Ушинским во главе и воспитанницы, а в противоположной партии – весь женский персонал начальства и двое учителей, оставшихся в институте от дореформенного времени. Конечно, и классные дамы успокоились бы в конце концов, во всяком случае менее утруждали бы себя выдумками, если бы начальница Леонтьева твердо решила претерпеть до конца новшества Ушинского. Но решимости на это у нее хватило лишь на первое время, да и то потому только, что, с одной стороны, его реформы были санкционированы свыше, а с другой – она просто не поняла, что Ушинский был не из тех людей, которые вводят реформы только внешним образом, напоказ. К тому же Леонтьева не имела представления о том, что преобразования так глубоко коснутся внутреннего быта института. Когда она это поняла, она решила, что государыня, сама желавшая оживить умственную жизнь воспитанниц, не знала о том, как это перевернет вверх дном все устои института.

И вот на голову Ушинского мало-помалу начинают сыпаться самые неожиданные неприятности. Классным дамам стоило только заметить, что начальница недовольна инспектором, и у них явилась надежда, что не все еще потеряно, что старое можно вернуть, что новое долго не удержится... И они начали более, чем когда-нибудь, подлаживаться к Леонтьевой. Их примеру скоро последовала и наша бесхарактерная инспектриса, m-me Сент-Илер.

Однажды она заявила нам, что хотя во время уроков нам и дозволено обращаться к учителям с вопросами, но мы должны помнить, что имеем право спрашивать их только о том, чего не понимаем из предмета, преподаваемого каждым из них. Но так как ей сделалось известным, что мы слишком широко воспользовались этой свободой, с шумом, криком и гиком, доходящими до полной непристойности (чего никогда не бывало), окружаем наших учителей в перемену, перебивая их и друг друга, болтаем с ними о всяких пустяках – этого она не потерпит долее. никоим образом не может она допустить и того, чтобы учителя приходили в сад вести с нами бесконечные беседы.

И так сразу был положен конец нашему живому общению с преподавателями. В классе водворилась полная тишина. Это было для нас крайне тяжелою, незаслуженною карою: мы продолжали усердно работать и читать, но «проклятые вопросы» осаждали наши головы, а поговорить о них теперь было не с кем. Тогда некоторые из нас начали прибегать к такой хитрости: подавая учителю составленную лекцию, мы в конце ее, а то и посреди, излагали (в скобках) то, что нас интересовало. У учителя литературы в эти скобки мы включали вопросы о том, почему герой или героиня такой-то повести поступили так, а не иначе. У учителя истории – возможен ли в настоящее время на престоле такой жестокий царь, каким был Иоанн Грозный? Был ли Павел сумасшедшим или нормальным человеком? Правда ли, что его убили? Можно ли Петра I называть великим только за то, что он производил крупные реформы, а между тем являлся палачом своих подданных?

Через много лет после выпуска, когда меня как-то посетил Д. Д. Семенов (бывший у нас учителем географии), он сказал, что только что случайно нашел между своими бумагами исписанный лист, который живо напомнил ему «период скобок» (то есть время, когда мы

сносились с учителями посредством скобок). Вот в это время одна воспитанница подала Семенову составленную ею лекцию о Малороссии, а в скобках обратилась к нему с курьезным вопросом, который он списал на память, так как лекцию должен был вернуть составительнице:

«На днях мне дали для прочтения маленькую книжечку и сказали, что это стихотворения Михайлова. Но так как титульный лист был оторван, а на оберточной бумаге для безопасности от классной дамы было написано: “Перевод стихотворений Корнеля” (наше начальство считает его благонамеренным писателем), то я и не знаю, были ли стихотворения Михайлова оригинальными или переводными. Из них мне врезались в память две строчки:

Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?^[47]

(Цитирую не по книге, а по памяти, но за смысл ручаюсь.) Вот в чем дело, многоуважаемый Дмитрий Дмитриевич! Если это стихотворение Михайлова переводное и, следовательно, в этом двустии автор подразумевает жителей западных государств, то для меня оно понятно. Я недавно читала, что строй этих государств пришел в негодность, в одном месте книги было даже сказано: “гнилой Запад”. Ведь не может же автор иметь в виду Россию после великого акта освобождения крестьян, когда прежним несчастным рабам дана свобода, когда, следовательно, все уже пользуются полной свободой и равенством? Не правда ли, такой ужас в России исчез с освобождением крестьян? Но если он существует и теперь, почему же все вы, честные, добрые, великодушные наши преподаватели, не соединитесь вместе с великим нашим Наставником и общими усилиями не уничтожите это страшное зло в России? Как подло со стороны “ведьм”, что они прекратили наши беседы со всеми Вами! Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич, когда будете возвращать мне эту лекцию, ответьте мне на мой вопрос так, чтобы “ведьма” не могла заподозрить, что я спрашиваю Вас об этом в лекционной тетради».

– И вот, как на грех, – рассказывал Семенов, – в один из четвергов я снес эту выписку Ушинскому. Преподаватели очень смеялись, когда я прочел им ее, а Ушинский, боже мой, я и сам был не рад, что познакомил его с содержанием этого курьеза! Он вскочил из-за стола и ну ходить по комнате в страшном волнении и говорил, говорил битых часа два, пока не раскашлялся и не разволновался так, что мы должны были разойтись по домам. Ушинского особенно возмущало то, что девочкам запрещают невинные беседы с учителями; это запрещение институтское начальство объясняло ему тем, что такие отношения к преподавателям будто бы лишают учениц женской скромности и коммльфотности, но он был глубоко убежден, что, даже при тупости классных дам, они не могли этого думать, и что тут был умысел иной. Он заметил, что если нас, учителей, и поражает наивная болтовня девочек, их до невероятности ребячливое мирозерцание, то его оно только радует: из этих «скобок» видно, что у воспитанниц уже являются мысли относительно общественной жизни, а еще недавно у них были на уме лишь «кавалергарда шпоры».

Получая составленную лекцию, заключающую самые разнородные вопросы в скобках, учителя прекрасно справлялись со своей новой задачей: они старались удовлетворить любознательность своих учениц, отвечая на их вопросы в безразличной форме.

Нас, воспитанниц, начала удивлять необычная суетливость нашей инспектрисы, которая к тому же все усиливалась: она то возвращалась от начальницы, то отправлялась к ней, то призывала к себе классных дам. Однажды, в дежурство m-lle Тюфяевой, когда мы ждали преподавателя русской истории М. И. Семейского, к нам вошла тапан. Мы встали со своих мест с обычным приветствием, а она голосом, срывающимся от нервного возбуждения, произнесла (по обыкновению, по-французски).

– Этот невоспитанный мальчишка, который должен к вам прийти сию минуту (он в то время был одним из самых молодых), так непристойно-заносчиво держит себя здесь со всеми, что я считаю долгом проучить его за это. Теперь я выйду из класса, а как только он войдет, я возвращусь, пройду к противоположной двери в коридор, но когда я буду позади скамеек, mademoiselle Тюфяева, а за нею и все вы должны присоединиться ко мне, вставая со своих мест без всякого шума. Таким образом мы все выйдем из класса. Он останется один среди пустых стен! Может быть, хотя это образумит негодяя!

Почему этот скандал был устроен М. И. Семевскому, а не кому-нибудь другому из учителей, навсегда осталось неизвестным. Сам он категорически отрицал взводимые на него обвинения в том, что он при встрече с той или другой классной дамой толкал кого-нибудь из них, нагло и с издевательством смотрел им в глаза и т. п. При этом он совершенно справедливо указывал на то, что если бы что-нибудь подобное случилось с ним, то оскорбленная дама не стала бы ждать случая, а тут же подняла бы «историю», как это было при столкновении Ушинского с m-lle Тюфяевой.

К. Д. Ушинский уже после выпуска как-то спрашивал нескольких своих бывших учениц, чем они объясняют этот скандал, и те единогласно отвечали ему, что, по их мнению, он начат был с М. И. Семевского, как с самого молодого, и, наверно, устроен был бы и другим учителям, если бы он, Ушинский, тотчас и сразу не положил этому предела.

Что касается того, как могла инспектриса Сент-Илер, о которой Ушинский был такого хорошего мнения, не только играть главную роль в этой истории, но даже взять в ней на себя инициативу, то это вытекало из всего характера нашей трусливой, безвольной маман. Когда у нас наступила реакция, Леонтьева всеми своими действиями обнаружила полную решимость выжить Ушинского из института; маман, по обыкновению, тотчас испугалась за свое положение и тогда уже открыто стала на сторону врагов Ушинского.

Однако вернемся к инциденту. Как только мягкосердечная маман на этот раз с каким-то злорадством объявила свое оригинальное распоряжение, прозвонил колокол. Она быстро вышла, а вслед за нею появился учитель. Он поклонился Тюфяевой, но она не отдала ему поклона; мы привстали, чтобы раскланяться с ним, но в эту минуту вошла инспектриса. Мы продолжали стоять, а учитель, уже успевший сесть, снова встал со своего места и поклонился инспектрисе, но та только выше подняла голову и величественно направилась к противоположной двери.

Однако не все произошло так, как было предписано: вышла m-lle Тюфяева, а за нею последовали и смущенные воспитанницы, но три из них продолжали сидеть в классе на своих местах: Ратманова, Саулова и я. Учитель как встал для поклона инспектрисе, так и продолжал стоять, растерянно оглядываясь по сторонам. Ни он, ни мы трое, оставшиеся в классе, не произносили ни звука. Наконец он сел и начал вынимать книги из портфеля, но затем быстро положил их обратно со словами: «При таких условиях я не могу читать!..» – встал, раскланялся и вышел.

Весь этот инцидент продолжался несколько минут.

Вслед за уходом учителя в класс вошли все, только что вышедшие из него. М-те Сент-Илер, бледная, со слезами, которые текли по щекам, обратилась к нам, оставшимся в классе, со словами, звучащими гневом и возмущением:

– А вы трое, как осмелились вы поступить вопреки моему приказанию? За всю мою службу здесь еще не было примера, чтобы кто-нибудь позволил себе так дерзко нанести мне оскорбление! И это за то, что, кроме ласки и приветия, вы ничего не видели с моей стороны?.. Я не верила, когда все кругом говорили мне, что вы в конце концов и относительно меня запятнаете себя черною неблагодарностью!

– Простите, татап, простите! – вдруг бросилась к ней, рыдая, Саулова, очень чувствительная девушка, которая чрезвычайно быстро увлекалась и еще быстрее остывала в своем увлечении. – Я необдуманно поступила! Я не знала, татап, что это вас так огорчит! Вы лучшая, самая лучшая здесь!..

Инспектриса, ничего не отвечая и прикрывая глаза платком, молча направилась к себе, а Саулова бежала за ней, выкрикивая на все лады те же мольбы, и скоро получила прощение.

Вечером меня позвали к инспектрисе. Она начала с повторения уже сказанного, но так как я молчала, она вдруг спросила меня:

– Ты имеешь что-нибудь против меня лично? О, я могу смело задавать подобные вопросы... Я никому из вас не сделала зла! Напротив даже, всех вас, а особенно тебя, всегда защищала перед классными дамами!..

– Конечно, татап, я ничего не имею против вас! Даже не смею иметь!.. Уверяю вас, мне очень больно, что я вас огорчила!..

– Если бы это было так, то ты много раз могла бы сегодня же прийти ко мне и попросить прощения.

– Я не могла... Это было против моих убеждений!

– Что?.. Повтори! – грозно настаивала она и, не дожидаясь ответа, разразилась искусственным смехом. – А, так вот чему вас научили новые учителя! Говорить высокопарные фразы!..

– Фразами, татап, называют слова, когда их повторяют без смысла. Вероятно, я понимаю, что значит убеждение, если решилась пострадать за него!

– Опомнись!.. Знаешь ли ты, что я в первый раз в этих стенах слышу такие слова!.. Ваши учителя исковеркали, изломали вас!

– Прежде здесь не произносили таких слов, потому что не имели ни взглядов, ни убеждений...

– Если ты будешь сыпать твои фразы в гостиной, над тобой будут издеваться как над последней дурой и фразеркой.

Конечно, свою скромную мысль мне следовало отстаивать попроще, да и говорить с инспектрисой об убеждениях было более чем наивно, но ведь нужно помнить, что мы были еще почти детьми: никому из нас в это время не было более 16–17 лет.

– Будь же любезна, объясни мне, какое отношение имеют твои возвышеннейшие убеждения к моим распоряжениям?

– Вы приказали, татап, воспитанницам уйти с лекции, чтобы наказать учителя за его неблаговоспитанность. При нас все учителя раскланиваются с классными дамами, даже теперь, когда те перестали отвечать на их поклоны. С нами все они очень вежливы и усердно заботятся о нашем просвещении. За что же нам наказывать их? Это было бы низостью с нашей стороны. Следовательно, ваше приказание было против моего убеждения.

– Пошла вон отсюда, скверная, до мозга костей исковерканная девчонка!..

Но когда я сделала реверанс, чтобы удалиться, инспектриса гневно закричала:

– На днях тебя уволят из института, и я буду настаивать на этом даже более, чем на удалении Ратмановой. Твое пребывание – настоящая зараза для твоих подруг. Тут уже и твой дядюшка не спасет тебя!

Хотя мне во время всей нотации очень хотелось, чтоб татап скорее кончила ее и я могла бы убежать в дортуар, но теперь я не могла уйти раньше, чем выскажу все, что подсказывали мне раздражение и обида.

– Мой дядюшка не беспокоит вас более!.. Полтора года тому назад я валялась у ваших ног, целовала ваши руки, умоляя вас защитить меня от клеветы...

– О, конечно, конечно, – язвительно перебила она меня, – при твоих возвышеннейших убеждениях это для тебя теперь совсем унижительно!

– Совсем не то!.. Выключенная из института тогда, я не знала бы, что с собою делать! Теперь совсем другое: я так хочу учиться, так твердо решила самостоятельно зарабатывать свое существование, что нет такой силы на свете, которая бы задавила это желание! А вы говорите о гостиных, указываете, что там надо мною будут издеваться!.. Да я и не пойду в эти гостиные, я хочу только учиться! И эти взгляды у нас явились под влиянием наших честных преподавателей, а вы требуете, чтобы я пошла на такую низость – устраивала им скандалы!..

– Ты, значит, милая моя, считаешь себя и Ратманову перлом создания, исключительно возвышенными натурами, а твоих подруг, которые не решились меня послушаться, низкими тварями?..

– Нисколько! Ведь они это сделали только потому, что не успели опомниться, не успели сообразить, в чем тут дело! Я также обыкновенно делаю то, что делают другие: мы уже здесь так приучены...

– А вот чтобы ты не была чересчур сообразительной, ты будешь уволена, и даже через несколько дней...

– Сейчас же извещу об этом моих родных!..

– Не ты известишь их о твоём увольнении, а учреждение, в котором ты воспитываешься! А теперь ты снимешь передник и будешь ходить без него вплоть до твоего удаления! И в церкви будешь стоять без передника и отдельно от других...

– Все ваши приказания, татап, я исполню, но *этому церковному наказанию*... извините... я взрослая девушка... я не могу подчиниться! Теперь, когда цепи рабства пали, вы наказываете меня как последнюю рабыню! Вот ваше христианское милосердие!.. Выгонять из института – ваше право, но наказывать меня в церкви – не позволю! – Последние фразы я уже выкрикивала дерзко и запальчиво, быстро сделала реверанс и повернулась, чтобы идти, когда она закричала:

– С глаз долой!

Для меня долго оставалось непонятным то, что инспектриса дала мне высказать кое-что, удостоила меня даже своими возражениями, правда ироническими, но, согласно с нашими правилами, ей следовало бы прогнать меня при первых же моих словах. Только гораздо позже я поняла, что она у меня же, в моей запальчивой, путаной, фразистой детской речи черпала аргументы для доказательства перед Ушинским негодности и безнравственности новых учителей и новой системы образования и воспитания.

Мне и в голову не приходило сомневаться в моем увольнении: это объявила мне не Тюфяева, а инспектриса, которая никогда не прибегала к подобным угрозам. Когда я вышла от инспектрисы в коридор и встретила воспитанниц, я просила их передать дежурной даме, что почувствовала себя дурно и вынуждена сию минуту отправиться в лазарет, – это было для меня единственным средством обдумать мое положение.

Ночью, лежа в лазаретной постели и перебирая в уме все происшедшее, я нашла, что задача избежать наказания в церкви, считавшегося самым позорным для выпускной воспитанницы, еще была одною из легких по сравнению с другими моими заботами. Прежде всего мне

необходимо было известить дядю о моем увольнении. Я прекрасно знала, что он, столь энергично защитивший меня против явной клеветы Тюфяевой полтора года тому назад, в настоящем случае примет сторону инспектрисы. Он всегда стоял за беспрекословное подчинение воле начальства, а я осмелилась выказать неповиновение и к тому же не раскаялась в своем поступке, – все это не только должно было усугубить мою вину в его глазах, но показаться ему настоящим преступлением. От него я могла ожидать всего: при известии о моем удалении он мог немедленно явиться к инспектрисе и, когда та объяснит ему, в чем дело, потребовать от меня, взрослой девушки, чтобы я коленопреклоненно просила у нее прощения. Эта мысль леденила кровь в моих жилах. Нет, ни за что не буду его извещать о моем удалении! К кому же обратиться? Моя мать жила в глухой деревне, очень далеко от Петербурга и, получив от меня известие, могла приехать за мной лишь через месяц-другой.

Мне пришло в голову, что у меня остается единственная обязанность известить об этом Ушинского. Благодаря ему я получаю стипендию: он должен узнать о том, что меня исключают, чтобы немедленно передать ее другому лицу (относительно стипендий у меня было самое смутное представление). Известить обо всем Ушинского меня побуждала и боязнь, что начальство доведет эту историю до его сведения в искаженном виде. И я всю ночь обдумывала письмо к Ушинскому, и на другой же день засела за него: я рассказала ему, как инспектриса приказала нам оставить класс, когда войдет учитель истории, объяснила ему причину, не дозволившую мне повиноваться ей, изложила и мой разговор с татан, не утаив от него и моих выражений, так возмутивших ее. Я писала ему, что не сомневаюсь в моем увольнении из института, и ввиду этого просила его руководить моими занятиями вне стен заведения.

В субботу вечером, перед тем как воспитанницам приходилось идти в церковь, ко мне забежала Ратманова с известием, что инспектриса продолжает каждый день ходить к начальнице и что, несмотря на это, никто из них не вспоминал о нас. Но я все-таки опасалась, что инспектриса вспомнит свою угрозу насчет церкви, и, чтобы избежать этого наказания, слегла в постель. Это оказалось совершенно лишним: прошло более недели, а между тем никто не напоминал мне о моем исключении из института, и я отправилась в класс как ни в чем не бывало. Ушинский после отсутствия своего вследствие болезни опять начал читать лекции. В первый же раз после своего прихода он долго сидел у инспектрисы, но о чем они толковали между собой, для нас осталось неизвестным.

Я несколько раз после этого встречалась с Ушинским и одна, и в обществе подруг, но он ни разу не дал мне заметить, что получил мое письмо. По внешнему виду он становился все более угрюмым и болезненным: его и без того бледные, исхудалые щеки осунулись еще более, лоб пожелтел, глаза горели лихорадочным огнем. Мы не решались подходить ни к нему, ни к учителям, и никто из них не разговаривал с нами более.

Г-жа З. Е. Мордвинова в своем биографическом очерке «Статс-дама М. П. Леонтьева» возмущается тем, что биографы Ушинского приписывают расстройство его здоровья неприятностям, клеветам и доносам, испытанным им в Смольном. Хотя биографы, говорит она, не называют фамилии Леонтьевой, но прежде всего имеют в виду именно ее, как особу, облеченную наибольшею властью в Смольном. Желая опровергнуть это и показать, что Леонтьева сочувствовала всему благородному и прекрасному, а следовательно, и реформам Ушинского, она старается доказать это, поместив в своей книге два подлинных письма (Леонтьевой и Ушинского), извлеченных из архивов, из которых видно, что в 1858 году Леонтьева через Деянова (бывшего тогда членом совета женских учебных заведений и попечителем Петербургского учебного округа) предлагала Ушинскому занять должность инспектора в Смольном и что он на это согласился. Но эти письма не доказывают того, что желает доказать г-жа Мордвинова. Очень возможно, что Леонтьева предложила Ушинскому инспекторство уже тогда, когда узнала об этом мнение императрицы и Норова, которым биографы и приписывают назначение Ушинского, ссылаясь при этом на его собственные

слова. Но если бы даже Леонтьева и совершенно самостоятельно выразила желание иметь инспектором Ушинского, то это еще совсем не говорит о ее сочувствии к нему, тем более что в то время она ни разу не видала его.

Нужно заметить, что за несколько месяцев до приглашения Ушинского умер инспектор Смольного Тимаев, а на его место члены совета^[48] предложили принять на испытание Полевого, сына писателя, очень молодого человека, который весьма не понравился Леонтьевой. Желая как можно скорее избавиться от него, она предлагала нескольким лицам занять должность инспектора, но дело не налаживалось, и уже тогда она через Деянова обратилась к Ушинскому, который в то время был инспектором Гатчинского института^[49]. Что же касается утверждения г-жи Мордвиновой, что Леонтьева не мешала проведению реформ в учебном деле, то это верно лишь в известной степени. Конечно, довольно мудро было начальнице препятствовать их введению, когда они официально были утверждены свыше. Но, будучи особой до мозга костей дико консервативной, Леонтьева не могла индифферентно смотреть на какие бы то ни было перемены, а особенно когда заметила, что они в корне подтачивают нравы и обычаи института. Правда, она допустила беседы учениц с учителями во время уроков, но как только они приняли живой характер, этому был положен конец. Точно так же и в остальных реформах она старалась вытравить все живое.

Что же касается личности Ушинского, то, как только Леонтьева поняла его характер, она начала делать все, чтобы отравить ему существование. Как она, так и классные дамы не могли сразу проявить ненависть, которую они почувствовали к нему: благосклонное отношение к нему императрицы заставляло их до поры до времени весьма дипломатично обращаться с ним. Да и сам Ушинский был не из тех, которых можно было легко и просто затереть. И вот потому-то, желая досаждать и мстить ему, они пока травили учителей. Да и могли ли не только сочувствовать друг другу, но мало-мальски переваривать один другого эти две личности – Леонтьева и Ушинский, столь различные между собой по своему характеру, понятиям и воззрениям! Леонтьева – осколок старины глубокой, особа с допотопными традициями и взглядами, с манерами, до комизма чопорными, с придворным высокомерием, с ханжеской моралью, требующая от каждого полного подчинения своему авторитету и подобострастного поклонения перед каждым своим словом, и он, Ушинский, – представитель новой жизни, носитель новых, прогрессивных идей, с энергией страстной натуры проводящий их в жизнь, до мозга костей демократ по своим убеждениям, считавший пошлостью и фокусами всякий этикет, всем сердцем ненавидящий формализм и рутину, в чем бы они ни проявлялись! Такие же диаметрально противоположные цели преследовали обе эти личности и в воспитании: она, упорно стремившаяся к тому, чтобы воспитанниц двух огромных институтов привести к одному знаменателю, он – горячий защитник свободной мысли и индивидуального развития. У них была только одна черта, общая друг другу, – властолюбие, но, конечно, она лишь усиливала их взаимную ненависть и вражду. Нервный и болезненно-раздражительный, Ушинский, человек во всеоружии знаний, прекрасно знавший себе цену, не мог вынести препятствий при своем быстром шествии вперед по пути прогресса и новшеств и наносил удары своим врагам, не обращая ни малейшего внимания на их служебное положение. Властолюбивая Леонтьева, от которой до сих пор исходило все, что делалось в институте, которой всегда и во всем принадлежала власть и инициатива, не смела более вмешиваться в учебное дело. И прежде оно находилось в ведении инспектора, но, несмотря на это, она по своему произволу выбрасывала из заведения каждого учителя, который ей не нравился. Теперь же в выбор учителей она совсем не могла вмешиваться. Уже одним этим она была уязвлена в своем самовластии и самодержавии. К тому же Ушинский отличался еще одной чертой характера, совершенно непереносной для институтского начальства: наблюдательный, остроумный, находчивый, резкий и прямой, с презрением относившийся к пошлости, он решительно не мог удержаться от сарказмов, а институтское начальство, по своему совершенному невежеству, представляло для этого широкое поле.

В то время, о котором я говорю, Ушинский уже пользовался большой известностью в обществе: его остроумные замечания, меткие выражения и характерные эпитеты о женском персонале Смольного ходили по городу и нередко оттуда переносились через наши стены. Как отравленные стрелы, вонзались они в сердца нашего высшего и низшего начальства и все большую ненависть возбуждали к Ушинскому. Преданные ему друзья-учителя предостерегали его, говоря, что этим он создает себе особенно много врагов, которых и без того у него достаточно вследствие его реформаторской деятельности.

Наконец начальство почувствовало, что настало время не только косвенно задевать Ушинского, нападая на учителей, и начало распускать лично о нем всевозможные клеветы. Мы, воспитанницы, слышали об обвинениях, сыпавшихся на него, но они доходили до нас в такой неопределенной форме, что мы не могли составить себе ни малейшего представления о борьбе, которую ему пришлось вынести.

Уже после выпуска, когда он однажды посетил меня, я в присутствии нескольких его знакомых просила рассказать нам, в чем обвиняло его институтское начальство и почему ему так скоро пришлось оставить институт¹⁵⁰¹. Константин Дмитриевич начал свой рассказ довольно спокойно, но скоро пришел в крайне нервное возбуждение, а через несколько минут бросал уже отрывочные фразы и, наконец, со словами: «Не могу!» совсем умолк. С тех пор я боялась беспокоить его тою же просьбою.

Вот что я могла узнать по этому поводу отчасти от него самого, а также и от близких к нему учителей, которым он тоже кое-что сообщал об этом.

Когда он понял, что классные дамы стараются своими «фокусами и мелочною пошлостью» раздражать учителей, он убедительно просил их не обращать на это ни малейшего внимания. И они действительно твердо держались данного ему слова. Но вот однажды М. И. Семевский пришел рассказать ему об описанном выше инциденте с ним. Ушинский взглянул на это как на простое недоразумение. Он смотрел на инспектрису как на единственную образованную, умную и порядочную женщину в нашем институте; к тому же она всегда выражала сочувствие его реформам. Правда, в беседах с ним она соглашалась далеко не со всеми его взглядами на воспитание, но тем более Ушинский верил в искренность ее сочувствия. Когда он узнал о скандале, устроенном ею М. И. Семевскому, он не мог допустить, чтобы инспектриса без всякой причины могла ошельмовать человека, и решил, что, вероятно, она вынуждена была спешно увести куда-нибудь воспитанниц. Но когда через несколько дней получено было мое письмо, он понял, что ошибся. Он отправился к инспектрисе и заявил ей, что если она еще раз, не проверив надлежащим образом обвинений классных дам относительно учителей, найдет необходимым нанести кому-нибудь из них оскорбление и тем лишит воспитанниц лекции, он немедленно же оставит институт.

Вероятно, инспектриса, переговорив об этом с начальницею, не нашла возможным тотчас же довести свое дело до конца; вследствие этого и меня с Ратмановой решено было оставить в покое, но свою борьбу с Ушинским они не прекратили. Хотя в одном из писем к императрице, скоро после введения учебной реформы¹⁵¹¹, Леонтьева хорошо аттестует ей Ушинского и новых учителей, но, вероятно, это нужно было по ее соображениям, тем более что высшие власти находили тогда реформы Ушинского необходимыми; а затем настали другие времена. В наиболее острый период раздоров между начальницею и Ушинским, что происходило в конце третьего и последнего года его инспекторства, начальница все чаще намекала ему на то, что избранные им учителя оказались людьми невоспитанными. Но этим она не ограничилась и начала задавать ему вопросы, то под личиною добродушия, то не скрывая иронии, что учителя, может быть, и введены были им с целью пропагандировать опасные и вредные идеи. Еще чаще она упрекала его за то, что он, по ее словам, подкапывается под устои морального институтского воспитания, стараясь выбросить за борт, как ненужный хлам, всю женственность, скромность и другие особенности, составляющие главный фундамент воспитания молодой девушки. Она не говорила прямо, что она

подразумевала под этим обвинением, и Ушинский объяснял его только тем, что лекции учителей после реформы приняли характер дружеских бесед между ними и ученицами, – других преступлений он за собою не знал. Раздражало начальницу и то, что Ушинский открыто стремился к уничтожению власти классных дам. По этому поводу она объяснялась более определенно и говорила ему, что святое значение классной дамы как воспитательницы он решил свести на роль простого сторожа и привратника. Этих «уважаемых» наставниц, по ее словам, он, Ушинский, обрывал, обращался с ними надменно и тем ронял их авторитет перед воспитанницами. Ушинский отрицал надменность в обращении с ними, но настаивал на том, что их педагогическая система приносит воспитанницам огромный вред, и указывал на злоупотребления ими своею властью. Сильно уязвляло самолюбие Леонтьевой также и то, что Ушинский осмелился ломать и переделывать на свой лад не только учебные программы, для чего он, по ее словам, был призван, но и обычаи и нравы, установившиеся в институте, забывая, что нравственное воспитание поручено ей, одной только ей, как члену совета и как начальнице, утвержденной императрицею.

Были и недоразумения, начавшиеся с момента введения реформ, но тогда они смягчались уступчивостью с той или с другой стороны, впоследствии же они сильно обострились. Когда учебные программы были утверждены, учениц пришлось распределять по классам: лучшие из них были назначены в седьмой, высший класс, а следующих за ними, весьма значительную группу воспитанниц, Ушинский не находил возможным оставить в институте, так как они оказывались не только совершенно невежественными по всем предметам пройденного курса, но между ними находилось не мало безграмотных, даже плохо читавших по-русски. Начальница настаивала на том, чтобы Ушинский все-таки оставил их в институте, а он находил, что им волею-неволею приходится явиться жертвами до невероятности неудовлетворительной системы прежнего преподавания. Он доказывал, что эти девушки, несомненно, могли бы еще многому научиться, но только в том случае, если бы их образование и умственное развитие начато было с обучения первоначальной грамоте и предметам элементарного курса младшего класса. Между тем вследствие их возраста он не имеет права посадить их в младший класс, а может устроить для них лишь особую параллель седьмого класса. Если в ней будут читать даже сокращенный курс и, насколько возможно, популярный, то, по мнению Ушинского, и из этого для этих воспитанниц не будет никакой пользы. Они не только ничего не усвоили за все время своего воспитания, но, не работая головой в продолжение всего юного возраста, притупили свои способности и не будут в состоянии воспользоваться даже упрощенным курсом. Однако Леонтьева настояла на том, чтобы для них был устроен параллельный класс.

Предсказание Ушинского сбылось: воспитанницы этого класса плохо учились (как это ни странно, их называли «вдовами», и эта кличка так и осталась за ними). Перед их выпуском опять возникли пререкания между Леонтьевой и Ушинским, но теперь уже более острого характера, так как к этому времени их отношения ухудшились. Леонтьева настаивала на том, чтобы воспитанницам, учившимся в параллельном отделении, были выданы аттестаты; Ушинский наотрез отказался это сделать. Он находил, что аттестаты могут вводить в заблуждение родителей, которые часто только на основании их приглашают девушек в качестве преподавательниц. И воспитанницам параллельного отделения были выданы лишь свидетельства с обозначением успехов по каждому предмету, большею частью весьма плохих.

Последним моментом борьбы между этими двумя лицами было следующее: после окончания выпускных экзаменов в начале марта 1862 года императрица Мария Александровна приехала в Смольный на Николаевскую половину раздавать награды. Ушинский по списку вызывал каждую воспитанницу, которой государыня вручала награду. Когда это торжество окончилось, Ушинский, по институтскому этикету, должен был моментально раскланяться с государыней и быстро отойти в сторону, уступив свое место начальнице. Но он не имел об этом ни малейшего понятия и продолжал стоять на своем месте. Государыня заговорила с

ним и в то же время отправилась приветствовать воспитанниц, выстроенных по классам. Ушинский следовал за ней, отвечая на ее вопросы. Для людей, не посвященных в нравы института, в этом не было ничего особенного: императрица подходит к воспитанницам то одной, то другой группы, произносит слова приветствия, а когда идет далее, продолжает разговор с инспектором. Но институтское начальство находило, что честь сопровождать императрицу принадлежит только начальнице: Леонтьева дрожала от волнения, а классные дамы, усматривая в поведении Ушинского величайшее оскорбление, нагло нанесенное их начальнице, подошли к членам совета, присутствовавшим здесь, и просили их довести до сведения императрицы о «наглой проделке» Ушинского. Выпускные воспитанницы Николаевской половины, стоявшие поблизости и слышавшие весь разговор, были им возмущены, толпой двинулись к любимому инспектору и при государыне выразили ему свою благодарность за его труды и заботы о них. Государыня обратила на это внимание и сказала, что ее трогают добрые чувства воспитанниц к людям, потрудившимся на их пользу^[52].

После этого положение Ушинского в институте сделалось невыносимым: на него не только посыпались клеветнические обвинения, но полетели даже доносы, на которые ему пришлось давать официальные объяснения. Пунктов обвинения оказалось так много, что на составление оправдания потребовалось почти двое суток, которые Ушинский провел, лишь изредка вставая с места.

Когда он кончил работу, кровь хлынула у него горлом, а на следующий день он встал с постели страшно поседевшим. В конце того же марта месяца 1862 года, ровно через три года после своего вступления в должность инспектора, Ушинский подал прошение об увольнении его от службы в Смольном. Вместе с ним, кроме двух-трех, вышли и все преподаватели, введенные им^[53].

Несправедливо было бы утверждать, что вечные дразги, недоразумения, бессмысленные клеветы и доносы институтского начальства были единственными причинами, погубившими здоровье Ушинского: оно было слабо у него с юных лет, но несомненно, что из ряда вон тяжелая борьба, которую ему пришлось вести во все три года его инспекторства в связи с необыкновенно напряженною деятельностью, дала сильный толчок развитию болезни легких, которою он страдал во все время своей последующей короткой жизни. Тяжелая утрата Ушинским сына в 1870 году была другим роковым ударом в его жизни, и он умер в том же году от воспаления легких, всего лишь сорока семи лет от роду.

Моя задача состояла в том, чтобы показать, какой переворот произвел Ушинский в Смольном, в этом в то время совершенно отжившем учебно-воспитательном учреждении, и выяснить его влияние на учениц. Я хотела представить эту сторону деятельности великого русского педагога, потому что она была лишь намечена его биографами, но совсем не описана, а я могла это сделать как одна из его учениц, испытавшая на себе всю силу его влияния, и как свидетельница его преобразований в институте. Я не пишу биографии Ушинского, не останавливаюсь и на той стороне его деятельности, которою он преимущественно стяжал громкую славу, то есть на его замечательных литературных трудах на пользу семьи и школы, но буду указывать и в некоторых последующих очерках на те стороны его характера, которые выяснились для меня еще более при дальнейшем моем знакомстве с ним уже вне институтских стен.

Глава VII

Выход из института

В первых числах февраля 1862 года я должна была сдать в институте последний экзамен. За неделю до него приехала в Петербург моя мать. Я умоляла ее взять меня из института в тот день и час, когда окончится мой последний экзамен, не ожидая официального выпуска. От

последнего экзамена до формального выпуска должно было пройти более месяца, и, сидя в институтских стенах без всякого дела, я бы напрасно потеряла много времени. Должна сознаться, что хотя я действительно рвалась к занятиям, но все же на первом плане тут умысел был другой. Мне казалось, что если меня возьмут домой тотчас после последнего экзамена, это будет блистательным протестом против начальства и наглядно покажет ему, что я сидела последние полтора года в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания. О желании сделать из моего ускоренного выхода протест и тем уязвить моих врагов в самое сердце я не говорила матери.

Экзамен окончился в двенадцать часов утра. Воспитанницы отправились завтракать, а я бросилась в дортуйар, где меня уже поджидала матушка со свертками и картонками. Возвратившись из столовой, несколько подруг прибежали к нам и начали помогать мне одеваться, сопровождая свои услуги болтовней, шутками, звонким смехом, примеривая на себя то одно, то другое из моего туалета. Окруженная толпой молодых девушек, моя мать с восторгом наблюдала их оживленные лица и обнимала то одну, то другую из них.

Прежде всего мы отправились прощаться к инспектрисе. После инцидента на лекции истории Сент-Илер, кроме официальных замечаний, ни разу не разговаривала со мной, и я делала все, чтобы не попадаться ей на глаза. И вот после долгого промежутка холодных отношений нам пришлось наконец столкнуться с нею, чтобы распрощаться навсегда. Радушно поздоровавшись с матушкой, она прижала меня к своей груди со словами: «Конец всем недоразумениям. Я всех вас горячо любила! И ты когда-нибудь вспомнишь меня с добрым чувством!» При этом она высказала мне самые лучшие пожелания, просила навещать ее и сама обещала посетить нас. Мою мать, видевшую нашу татап в первый раз, но знавшую ее не только по моим, но и по дядюшкиным рассказам, она просто очаровала. Когда мы вышли от нее, она все повторяла: «Нет человека без греха! А все-таки она обворожительная женщина!»

Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, о чем хотела говорить с ним в этот знаменательный для меня день. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать о нем, укажу ему, какое громадное значение он имел для нас, его учениц. Но меня охватил ужас при мысли, что если я сию минуту и не прощаюсь с ним окончательно, то через месяца два-три, когда мне придется уехать из Петербурга, навсегда потеряю его, и я мысленно повторяла себе, что вместе с ним потухнет для меня весь свет, что я останусь навсегда без руководителя и поддержки. У меня так забило сердце, когда я вошла в залу, где расхаживал Ушинский, что я забыла все, что собиралась ему сказать, да у меня и не хватило бы смелости произнести перед ним такую речь. Увидев его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать мою мать и стояла посреди комнаты с опущенной головой, делая усилия, чтобы не разрыдаться, а слезы градом катились из моих глаз.

Ушинский молча остановился передо мною, положил руку на мое плечо и с отеческою ласкою заговорил:

– Ну вот, ну вот... (Его всегда смущали слезы.) А я ведь приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы! Боялся, что устроите скандал, какой-нибудь протест! Ну что же, еще не успели?

Слезы душили меня, и, не будучи в силах отвечать, я лишь отрицательно покачала головой.

– И прекрасно! Какие там счета! – И, видя, что я все еще взволнованна, он обратился к матушке, которая начала горячо благодарить его за все, что он сделал для меня.

– Вы знаете, – говорил он мне, – что я никого из моих учениц не оставляю теперь в покое. На какой конец света вы бы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своем времяпрепровождении, о своих занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах!

Моя мать тоже шутливо возразила ему, что со мною можно теперь обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.

– Вы не очень-то полагайтесь на ее слова: она особа увлекающаяся! Правда, в последнее время она серьезно занималась, ну, а услышит звон шпор (он знал, что до отъезда в провинцию я буду жить в военной среде), и вся уйдет в звуки вальса!.. Жаль, очень жаль, что она не может жить среди людей трудящихся! Тогда я не боялся бы за нее! Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки и фалборочки! Через недельки две-три непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали за это время. Вы не думайте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда!

И он, по-прежнему обращаясь то ко мне, то к моей матери, говорил о том, как необходимо развивать в себе вкус к здоровым удовольствиям: советовал ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением прочитывать пьесу, которую придется смотреть, а если есть возможность, и критический ее разбор, указывал на необходимость посещать публичные лекции^[54], особенно лекции Костомарова, с тем же условием, то есть чтобы до нее подготовиться к ее слушанию.

– Видите ли, я все толкую о развлечениях, но ведь кроме них, должны же вы подумать и о каком-нибудь серьезном умственном труде. Когда я к вам приеду, я привезу вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать во время вашего пребывания в Петербурге. Но рука об руку с серьезной умственной работой и здоровыми развлечениями вы должны выбрать еще какую-нибудь воскресную школу, чтобы обучать детей грамоте и посещать лучшие элементарные школы, прислушиваться к преподаванию хороших учителей. Я вам привезу рекомендательные письма и укажу, в какие из школ вам полезнее проникнуть. Вы со всеми уже простились здесь? – вдруг спросил он, протягивая мне руку на прощанье.

Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису. Ушинский пристально посмотрел на меня своими пронизательными глазами и строго добавил:

– Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какою-нибудь неуместною выходкой?

Каждое слово Ушинского было для всех нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не решился. Но если бы он и не предупредил меня о том, что я должна держать себя с начальницей в границах предписанного почтения, я сама уже решила, что не пророню у нее ни звука.

Однако, несмотря на то что я строго выдержала обет молчания и была нема как рыба, визит наш к ней окончился весьма печально. Как только мы были введены в приемный покой начальницы, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела. Чуть-чуть кивнув нам головой в знак официального приветствия, она тотчас начала говорить о том, как радо институтское начальство, что оно на месяца полтора раньше положенного срока избавляется от присутствия в институте моей особы. Все это она произносила, обращаясь к моей матери и, по своему обыкновению, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, но та все выслушивала молча. Я уже начинала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева, по-прежнему обращаясь только к моей матери, начала припоминать, как она выразилась, «грязную историю с братьями вашей дочери, в которой такую недостойную роль играл ваш брат, а ее дядюшка, с виду почтенный генерал, наделавший всем нам массу неприятностей».

Тут уже вспыхивая по натуре матушка не стерпела и, прервав разглагольствования начальницы, запальчиво заговорила о том, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из простого свидания ее сыновей с их родною сестрою. Что касается ее брата, то она, начальница Леонтьева, должна быть ему еще бесконечно признательна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, «зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить об этой во

всех отношениях выясненной истории, в которой кругом виновато было институтское начальство, поверившее клеветническому доносу классной дамы. Вероятно, ее превосходительство, – смело добавила матушка, – вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить *только* с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее, Александры Степановны Цевловской, то она не подчиненная ей, а потому и не желает выслушивать клевет, признанных за таковые даже институтским начальством, а что это было именно так, как она говорит, видно уже из того, что инспектриса просила ее брата не доводить эту историю до государя».

Такого потока горячей речи моей матери начальница не в силах была остановить. Величественно поднявшись с дивана, она протянутой рукой гневно указала моей матери на дверь. Но та повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.

Мы спускались уже по лестнице, когда, вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (dame de compagnie^[55] Леонтьевой). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала: «Какие неслыханные дерзости вы осмелились наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам Евангелие. Она надеется, что эта священная книга...» Но я заметила, что моя мать еще не остыла, порывается что-то возражать, и, схватив книгу, потянула матушку за собой.

Мы быстро спустились вниз, тронулись в путь, и я навсегда оставила стены «alma mater», чтобы вступить на новую, совсем неизвестную мне дорогу жизни, к которой я была совершенно не подготовлена институтским воспитанием...